
Некрологи

Александр Федорович Котс

Памяти Николая Николаевича Воскресенского

Как ни горестен уход из жизни нашего дорогого товарища **Воскресенского**, это наше прощанье с ним — увы! не было неожиданным! Уже давно покойный чувствовал себя на положении полубольного: его ясный ум врача давал ему отчет о постепенном ослаблении сердца, об угрозе преждевременного ухода из жизни.

Но и со стареющим, больным и затихавшим сердцем он не оставлял своей работы, своего поста, стоя на страже безотлучного борца с микробами, могущими внести заразу, угрожать здоровью, благоденствию рабочим **Холодильника**.

Но не об этой собственно профессиональной стороне работы деятельности покойного нам хочется припоминать сегодня.

Всем дорог был покойный и любили мы его за чисто человеческие свойства его сердца и души:

Всегда приветливый и мягкий, и отзывчивый он своим присутствием вносил какое-то неощутимое спокойствие в общение с людьми.

Это был подлинно глубок — чуткий и культурный человек. Будь он врачом в обычном смысле слова — у него не было бы отбоя от больных: настолько чисто-человеческие качества, благожелательность, гуманность были свойствами его души.

И, что бесспорно, самое для нас бесценное и дорогое это его юношеская преданность **нашей** стране, **нашей** великой Родине, **нашей** культуре и ее Великому **Вождю**.

Помнится, как два года тому назад, на Празднике 1-го Мая Н.Н. — по поводу скромного моего подношения от имени **Дарвиновского Музея — Холодильнику** — открыто выступил со стихотворным небольшим приветствием, проникнутым такой любовью к нашему **Советскому** укладу жизни, к «нашему родному **Сталину**» — в такой горячей искренней, чисто Советской форме, которая под стать была бы самому пламенному комсомольцу!

Да будет же его имя светлым воспоминанием для всех, кто его знал и кто его любил при жизни, и да послужит память о нем примером того, что может сделать и какую светлую память может по себе оставить старый русский интеллигент — усыновленный Великим Советским Народом.

А нам оставшимся остается только выразить слова товарищеской благодарности за годы дружеского общения с Тобой и в дни Труда и в дни наших Советских праздников и на примере Твоего скромного служения нашей родной культуре убедиться лишний раз что для Советской жизни и культуры **нет** и быть не может «маленьких людей», что самый скромный, с виду неприметный труд, но выполненный честно и с любовью это труд большой, почетный, славный и непреходящий!

Прощай же, дорогой наш друг и чуткий, преданный Советский труженик и Товарищ!

10.V.1951.

Основатель и Директор Культа Шефного над **Холодильником Гос. Дарвиновского Музея**

/профессор А.Ф. Котс /

Памяти художника Александра Алексеевича Лушникова

Смерть любого человека больше, чем его жизнь, способна навести на размышления, но всего больше там, где речь идет о долгой жизни, отданной служению умственной культуре и художественной правде.

Именно такую представляется нам смерть и жизнь Александра Алексеевича **Лушникова**.

Здесь достаточно напомнить **три** этапа этой жизни.

Отдаленный Тройцкосавск, наш пограничный аванпост культуры в Азии, где зародилась жизнь и дарование покойного

Париж — былой когда то центр мировой культуры .. и

Москва, сердце России, центр будущей культуры мира.

Таковы три центра жизни и формирования призвания и служения **Лушникова**, как художника.

Рождение — в далекой Азии...

Париж, как школа приобщения к подлинному мастерству художественной технике и широте культурно-исторического кругозора...

И, однако, применить свои природные дары, свое художественное мастерство покойный мог только, живя в Москве, дыша московским воздухом, живя культурой своего народа.

Более того. Мне неизвестно, создано ли что либо, достойное внимания, Лушниковым в годы пребывания его в Париже. Не в Париже суждено было проявиться Лушникову, как художнику.

Певец уныло своей Родины, сурово оттененной сопками и далями Монголии, он закрепил ее природу, ее скудный быт десятками холстов, ничем не выдающих европейской школы, широты диапазона умственной культуры...

Самые ответственные яркие холсты покойнику пришлось создать не в Тройцкосанске, не в Париже, не в условиях полнейшего спокойствия и обеспеченности, а в Москве, а наиболее ответственные вещи в самые тяжелые и героические годы, — годы Отечественной Войны.

Но даже более того. Когда внезапный тягостный недуг, — надлом ноги и тяжкое недомогание пригвоздили Александра Алексеевича к его комнате-мансарде, эта инвалидность не смогла остановить ни рвения, ни мастерства покойного: от мольберта к кровати, от кровати к мольберту переползая, он не уставал творить, отображать звучными красками черты и облики великих гениев ума, титанов воли, выразителей больших идей, вещателей художественной правды в мире звуков, краски и резца....

Последняя картина, писанная **Лушниковым**, представляет **Чкалова**, прославленного летчика, изображенного по завершению героического перелета, названного «**Сталинским маршрутом**».

Этот холст остался неподписанным, что видимо отчасти огорчало самого художника.

И здесь невольно хочется сказать:

Пусть эта «песня лебединая», эта последняя Твоя картина, Александр Алексеевич, осталась неподписанной!

Но Твоя жизнь не осталась таковой!

Ушел из жизни Ты с достойным росчерком, с достойной полной подписью, как гражданин, как мастер своего искусства, и как человек!

И мне, как почитателю и другу Твоему, как скромному, посильному былому вдохновителю московской полусы Твоего творчества, да будет мне позволено открыто высказать Тебе слова глубокой благодарности за все Тобой сделанное, все Тобой вложенное в дело создания **Дарвиновского Музея**, — Учреждения, которому Ты отдал лучшие свои дары заката долгой жизни, мудрой творческой и просветленной старости!

Памяти Сергея Ивановича Огнева

«Чем ярче горит свеча, — тем быстрее она сгорает.»

Тривиальнейшая истина. Но будучи аллегорически приложена к большим творцам культуры, та же истина звучит трагически, порой — зловеще.

И на самом деле. Что ни год, то преждевременно уходят в вечность видные ученые, уходят не закончив своего служения родной стране, не завершив своей культурной миссии.

Давно ли, через пару стен отсюда, мы приветствовали так сердечно-горячо **Сергея Ивановича** в пору полного расцвета его творчества, ко дню его шестидесятилетия ...

Невольно вспоминается, как после бесконечного потока дружеских приветов, выступая со словами благодарности, **Сергей Иванович** коснулся незаконченных своих работ.

И в этой части его речи одна фраза сорвалась у него с уст — увы! — пророчески; мысль о том, что если не удастся самому ему закончить свой обширный труд, — его закончат, завершат его ученики.

И вот, он навсегда ушел от нас и колоссальный труд его остался незаконченным.

Мучительно встает безжалостный вопрос: Чем объяснить, что на глазах у нас, советская наука понесла так много преждевременных утрат? И как могло случиться, что коснулась рука смерти человека, словно призванного долго-долго жить?

Кому же неизвестно, что как раз **Сергей Иванович**, конечно всего менее заслуживал названия только «Кабинетного ученого»!

Не он ли находил и время, и умение совмещать работу кабинетную и полевую, мастерски владея и пером, и фотообъективом и оружием полевика-натуралиста..

Не случайно именно перо **Сергея Ивановича** закрепило так талантливо и поэтично-красочно, и ярко наблюдения его на воле, в книжке, так еще недавно удостоенной почетной премии имени Великого Вождя...

Так почему же все-таки так преждевременно ушел из жизни человек, умевший так идейно-многогранно-гармонично жить?

И отвечая на вопрос, я думаю, не ошибусь, сказав, что каковы бы ни были ближайшие причины, подточившие его здоровье главным и безжалостным виновником его столь преждевременной кончины был **исконный, основной**, я бы сказал **традиционный, национальный недостаток русского ученого** :

Безжалостное отношение к самому себе, полнейшее и неумение, и нежелание экономить свои силы, нерасчетливое их расходование для идейных целей.

Как ученый мирового ранга, как общественник, как педагог и мастер популяризации, **Сергей Иванович** работал на **четыре фронта**.

И пылая с двух концов эта прекрасная «свеча» сгорела раньше срока, тем быстрее и стремительнее, что горела она слишком ярко, слишком чутко отзываясь на все выроставшие со стороны запросы к знанию, к теплу и свету.

Да послужит же эта безвременная смерть живым укором, предостережением, призывом и при том в творящем направлении:

По адресу учеников покойного: исполнить завещание их славного учителя продолжить борозду вставленную им.

Для нас, его бывлых друзей-товарищей: напоминанием того, как тягостно и скорбно уходить с поста, не заручившись надлежащей «Сменой».

И, наконец, для тех, от власти и возможностей которых это, может быть, зависит: лишней раз учесть эту склонность русского ученого, ученых по призванию, склонность не щадить себя в работе и сгорать безвременно на доверяемом им посту. «*Caveant Consules*»!

От имени сидящих друзей и почитателей покойного, от поредевшей «Старой Гвардии» Зоологов — безвременно ушедшему от нас товарищу по скромному оружию на поле мирного идейного труда, служения культуре **Родины** — последнее и задушевное «**Прости**»!

Москва. /А.Ф. Котс/

Дарвиновский Музей.

23.XII.51.

Памяти профессора Бориса Михайловича Житкова

При той громадной сложности, которую являет нам душевный мир **любого** человека, всякая попытка очертить ее немногими словами может показаться слишком смелой и самонадеянной.

Особо трудной кажется она, когда вопрос идет о человеке самобытной и высокой умственной культуры, безнадежной, когда делают ее на основании отдельных встреч или воспоминаний, давних и отрывочных.

И если все же я пытаюсь предпринять попытку именно такого рода и коснуться лишь немногими штрихами облика **Бориса Михайловича Житкова**, то лишь потому, что в этом начинании у меня окажутся два верных, преданных помощника: Живая непосредственность воспоминаний юности и отстоявшаяся благодарность старого ученика.

Три свойства, три черты Бориса Михайловича поразили меня с первой встречи: ранние седины, скромная самоуверенность и некая светящаяся изнутри спокойная и неизменная приветливость.

Как далеко назад не восходил бы я в своих воспоминаниях, без малого полвека эти свойства внешнего, физического облика, ума и сердца вступают ярко и неизгладимо.

Эти ранние седины мы, студенты-первокурсники, воспринимали бессознательно как «символ мудрости», отображение большого знания и жизненного опыта.. наивно-трогательно-простодушно и, однако, в данном случае оправданно и справедливо!

Это преждевременное поседение и «умудренность опытом» как то сливались в нашем представлении и побуждали выделять Бориса Михайловича на общем фоне прочих молодых доцентов.

Помнится, как в отношении последних мы нередко интересовались где и у кого они помощниками-ассистентами..Но в отношении Бориса Михайловича все эти вопросы как то отпадали: самые его седины словно узаконивали наше представление о нем, как о «хозяине», о «старожиле», как исконном «обитателе Зоомузея».

Но едва ли нужно говорить, что и седины, и исконное житковское пенсне не долго удержали бы за нашим молодым преподавателем его престижа, если бы он сам охранял его своим авторитетом.

Хорошо известно, что авторитет — авторитету рознь. Есть авторитет «с чужого голоса» и есть авторитет личного опыта и подлинного знания.

В ту пору, о которой я упоминаю, на пороге этого столетия, еще не появлялись главные научные труды **Житкова**, да и появившись они, мы, первокурсники, конечно, не могли бы правильно судить о них.

Но вот, что замечательно! Не зная ничего о самобытности научных устремлений и работ **Житкова**, мы, студенты, чувствовали эту самобытность и самостоятельность его, как нашего руководителя.

Но эта «автономия» в науке мыслима лишь на основе собственного опыта и подлинного знания, а в Биологии эта последнее дается только при условии не «книжного» но аутопсического изучения самой Природы.

Где, когда, с какого времени любовь к природе и ее познанию заронила в будущего автора «Симбирских Птиц» и будущего исследователя Заполярья — я не знаю. Но одно бесспорно, что в лице **Житкова** мы имели подлинного мастера и знатока науки.

Это мастерство владения предметом чувствовалось в каждом слове, в каждой реплике Бориса Михайловича, придавало значимость и вес его суждениям и ту спокойную уверенность письма и речи, о которой говорилось выше.

Мне всегда казалось, что при обращении к Борису Михайловичу с тем или иным вопросом, связанным хотя бы отдаленно с областью его научных интересов, именно **Житкову** менее, чем кому-либо из всех его коллег-ученых, приходилось обращаться к «книжным» справкам. Каждый раз, при обращениях такого рода, он — как памятен нам этот жест! — касаясь своего пенсне и как бы вглядываясь вдаль, как будто видел мысленно перед собой не книги, не рисунки, не чужие мысли и слова, но сцены, факты, образы, картины, лично наблюдавшиеся ни когда то под открытым небом.

Это далеко не значит, что Борис Михайлович чуждался книжной эрудиции. Само академическое положение **Житкова**, как доцента, а затем профессора и автора трудов по разным отраслям науки ставило его в необходимость быть во всеоружии литературы.

И, однако, более, чем кто либо мог бы Борис Михайлович словами Гексли величайшего апологета **Дарвина** сказать, что в Биологии и «Начитанность» и «Знание» — не одно и то же и что действительно и плодотворно только знание «из первых рук», полученное в результате опыта и вещного знакомства с изучаемым предметом.

Пользуясь словами мудрого, хотя и мало симпатичного героя Гетевского «Фауста», можно было бы сказать и в данном случае о предпочтении Житковым фактов жизни маложизненным теориям:

«Суша, мой друг, теория везде
А древо Жизни пышно зеленеет!»

Но входить в разбор теоретических воззрений и высказываний Бориса Михайловича здесь тем менее уместно, что не в них таилась главная практическая ценность полувековой его работы.

Таковы причины, побуждающие нас перевести внимание на более практическую сферу деятельности покойного.

Вот уже четверть века, как приходится мне в интересах **Дарвиновского Музея** и моих работ вращаться в области **пушной промышленности**, занимающей одно из самых первых мест в экспорте нашего народного хозяйства.

Четверть века мне приходится встречаться с самыми различными работниками мехового и пушного дела: заготовки, сортировки и экспорта всей нашей отечественной пушнины.

И вращаясь двадцать с лишним лет среди рабочих-сортировщиков и техноруков в области пушнины, я имел возможность убедиться в том, как популярно среди них имя «профессора Житкова».

Там, в этой кипучей повседневной практике пушного промысла или хозяйства ничего не знают об «Ароморфозах» и «Филэмбрио генезах», но тем более — о «Житковской» Школе молодых талантливых и энергичных практиках-зоологах, специалистах по пушному делу.

Можно с полной уверенностью утверждать, что если в области практической **Энтомологии** школа покойного Кулагина успешно конкурировала с петербургской школой Холодковского, то в сфере Зоологии пушных животных школа, созданная Б.М. **Житковым**, не имела конкурентов.

И ища причины этой плодотворной деятельности Житкова, как создателя своей особой «школы» практиков-зоологов, приходится невольно перейти от свойств **ученого** к достоинствам **преподавателя и человека**.

Сорок с лишним лет тому назад манеры обращения профессоров к студентам были самые разнообразные: от суховатого, корректно-сдержанного «тайных» и иных «советников» и до слащавого заискивания многих видных, а на деле мнимых «либералов».

Вряд ли нужно говорить, что поведение Бориса Михайловича было чуждо этим крайностям.

Держал себя Борис Михайлович при общении с нами неизменно просто, но без тени той «искательности», от которой не свободно было обращение даже некоторых «кумиров» из тогдашней профессуры.

Поражало всего прежде редкое соединение громадного авторитета с чутким, задушевным отношением к нам — желторотым неопитам первокурсникам-студентам...

Всем нам памятен особый говор, стиль, особая манера говорить, которые присущи были одному Житкову.

В полное отличие от некоторых «провинциальных знаменитостей» и их манеры внешнею значительностью интонации и жестов придавать значение банальным или мнимым истинам, — манера дикции Житкова представляла много самобытного.

Не опасаясь показаться тривиальным, я готов сказать, что говорил **Житков** всегда, будь то на лекции, или во время дружеской беседы, как то исключительно «тепло» и «вкусно», с подкупающей интимной простотой и убежденностью, согретой подлинной любовью к своему предмету и с большим вниманием к собеседнику и аудитории.

И вот, пытаясь оживить в воспоминаниях эти черты Бориса Михайловича, как человека и учителя, мысль, возвращаясь к прошлому, невольно останавливается на ряде сценок, малозначных свиду, но глубоко показательных.

Старые стены прежнего **Зоомузея**, по ту сторону Б. Никитской, от которых ныне не осталось видимых следов.

Старое здание Музея. Темные, высокие и затхлые и все же для людей моего возраста овеянные той романтикой, которая дается впечатлениями юности и уважением к историческому прошлому: то были стены, видевшие некогда **Пржевальского** и **Николая Северцева**, **Карла Францевича Рулье** и **Усова**, — учителей наших учителей...

Заставленное до отказа деревянными тяжелыми шкафами, с полутемной аудиторией и крохотными «клетками» на хорах для специалистов, помещение Музея оставляло для практических занятий первокурсников-студентов только узкую площадку перед окнами между шкафами.

Здесь, на этой крохотной площадке, в обрамлении звериных чучел и велись занятия молодых преподавателей-зоологов: Богоявленского, Елпатьевского, Кожевникова, Щелкановцева и Житкова.

Помню первое занятие у Бориса Михайловича: «Строение Птиц».

Школьная черная доска и мольберт. Скромные рабочие столы и дюжина студентов-первокурсников, зоологов.

И тут же сам Борис Михайлович, — высокий, моложавый, но уже седой, уже в пенсне.

Вступительная лекция по анатомии, строению скелета.

Помню, как на этой лекции меня всего сильнее поразила самая манера речи нашего преподавателя: ни тени аффектации или академизма в смысле докторального, сухого поучения.

Просто, сжато и как то особенно интимно-задушевно, словно говорил Житков не о костях и мышцах, но о чем то очень ему близком, точно говорил он не студентам-желторотам, но своим знакомым, молодым друзьям, уже объединенным с ним той же симпатией, той же любовью к птицам, их костям, их мускулам и перьям...

Я не знаю, в какой степени этот прием: приписывания аудитории заранее особенной симпатии к предмету, излагаемому с кафедры, являлся у Бориса Михайловича обдуманной методикой. Вернее что эта манера говорить была основана на прирожденном чувстве такта, на культуре сердца.

Мы подходим к очень деликатному вопросу:

В какой мере та или иная дисциплина отражается на персональных качествах ее адептов?

Здесь легко предвидеть возражение. Нам скажут: Безрассудно связывать научные вопросы данного ученого с его характером, как человека.

И, однако, некую таинственную связь мы все же чувствуем, когда от качества ученого мы переходим к персональным свойствам человека.

Расскажи нам кто-нибудь о негуманных действиях великого Геолога («Такой знаток камней и этакий нечуткий человек!») и ссылка на профессию таких ученых не повысит нашей скорби, нашего негодования.

Но если бы нам кто-нибудь сказал подобное о **Рескине**, или **Аксакове**, — это известие нас поразило бы как некая психическая травма.

Но едва ли нужно говорить, что в отношении Бориса Михайловича между дарованием ученого-натуралиста и отзывчивостью человека не было разлада.

Эту чуткость человека и учителя да будет мне позволено проиллюстрировать двумя примерами того, как деликатно скорректировал Борис Михайлович два юношеских моих «заскока» в бытность мою первокурсником-студентом, сорок пять лет тому назад.

На предложение **Житкова** — подготовить к следующему занятию конспект прочитанной им лекции и повторить набросанные им меловые схемы на доске, я тут же вызвался на это выступление, имея тайное намерение «шикнуть» своею эрудицией.

Еще на гимназической скамье мною прочитана была английская книженка **Хиллэя** («Строение и Жизнь Птиц»), довольно скучная. И думая блеснуть своей ученостью, я вздумал скорректировать Бориса Михайловича, дав не его рисунок а рисунок из английской книги.

Каково же было изумление мое, когда стоявший рядом около меня Борис Михайлович, интимно-дружелюбно положив мне руку на плечо, полуобняв меня, другой рукой столь же уверенно и деликатно стер мою поправку, как неверную, хотя и позаимствованную из английской книги.

Помню, как это «неодобрение» одной рукой и дружеское смягчение его другой сделали то, что самолюбие мое несколько не было задето, что так неизбежно былом бы при менее чутком обращении.

Или — другой пример такой же деликатности, умения щадить чужое самолюбие.

Заметив, что в шкафах Музея зайцы-Беляки помечены, как «Лепус Тимидус», я, целиком воспитанный на старой Брэмовской терминологии, сумбурной, хаотической, решил «исправить» эту мнимую ошибку в наименовании.

— «Борис Михайлович!» обратился я студентом-первокурсником к Житкову, «Ведь у Вас в шкафах зайцы неверно обозначены как „Тимидус“, ведь следует назвать: „Вариабилис“!»

И снова, вместо столь естественного назидания по типу хорошо известных поговорок (ссылки на «Сверчка, не знающего своего шестка»..) Борис Михайлович поступил совсем иначе.

Начал он с того, что согласился с тем, что первое название («вариабилис»), конечно, более вразумительно и более логично, ибо какой же заяц не труслив, не «тимидус», но что последнее название укоренилось в силу принятых номенклатурных правил.

А в итоге отошел я от **Житкова** и от зайца ни в малейшей степени не ущемленный в своем юном самолюбии.

Но вот проходит сорок с лишним лет. За этот долгий срок мне далеко не часто приходилось видеться с Борисом Михайловичем. Но это не мешало ему чутко откликаться всякий раз, когда мне приходилось обращаться к нему с той, или иною просьбой, будь то за советом, или справкой, будь то за предоставлением предметов его личных сборов для коллекций моего Музея: всюду та же неизменная отзывчивость и помощь словом, или делом.

Наконец, моя последняя с ним встреча на его квартире.

Было это еще до Войны.

Желая лично поблагодарить его за теплое приветствие ко Дню тридцатипятилетия моего Музея, я зашел к Борису Михайловичу на его бывшую квартиру по проезду бывшего Зубовского Бульвара.

По скрипучим деревянным лестницам какой то архаической постройки с бесконечными коморками, чуланчиками, кухнями и коридорами, я только после многократных указаний обитателей этой безрадостной казармы, очутился перед дверью в обиталище **Житкова**: нечто вроде скромного преддверия к профессорской квартире, обрамленное гирляндой книжных полок.

Это сочетание скученности обывателей внизу и изобилие продуктов умственной культуры здесь, в этой профессорской мансарде, было знаменательно.

Перефразируя слова нашего **Чехова**, мне думалось:

«Когда я вижу книги, то какое мне дело до того, какие склоки вероятно распирают стены этого жилого комбината. Здесь я вижу царство книг, я вижу только изумительные дела людей.»

Но вот я в комнате Бориса Михайловича: Островок культуры в обывательской оправе, словно мраморная голова Минервы, водруженная на «свайную постройку».

Вот и сам Борис Михайлович. Все тот же, что и десять, как и двадцать лет тому назад: лишь серебро седины уступило снегу, да морщин побольше, да приветливости еще больше, но все тот же мягкий, вкусный говор и светящийся улыбкой взгляд.

С тех пор мы близко не выдались, если не считать несколько беглых университетских встреч, а разразившаяся вслед за тем война еще усилила пространственную разобщенность жителей Москвы и в частности ее ученых.

Глухо донеслось известие об уличной аварии Бориса Михайловича, и еще глуше о его болезни. И, однако, ни об этом длительном недомогании, ни о смерти моего учителя я не был своевременно оповещен.

И заключая этот бледный очерк моих скромных, рыхло собранных воспоминаний о **Житкове**, я позволю себе увязать их некоей единой красной нитью.

Помнятся, как полстолетия тому назад, я мальчиком-подростком, грезя о профессорах и Университете, спрашивал о них повторно и настойчиво моего первого учителя, известного тогда натуралиста **Лоренца**, талантливого орнитолога и препаратора-художника, близко стоявшего к Зоомузею Университета.

Умный, наблюдательный и даровитый, человек большой культуры Федор Карлович **Лоренц**, знавший близко Николая **Северцова** и **Пржевальского**, с готовностью делился своим знанием о «закулисной» жизни Университета и Музея.

Здесь впервые услышал я о профессорах-зоологах, о **Мензбуре**, о **Зографе**, о **Тихомирове**, об «Усовцах» и о «Богдановцах» — этих — увьи! — зоологических «Монтеки» и «Коппулетти», и о молодых зоологах обеих школ: — о **Сушкине**, **Корчагине** и **Хомякове**..

Из таких частных разговоров с **Лоренцем** я мог узнать, кто у кого был ассистентом, тот — у Мензбура, а тот — у Тихомирова.

— «Есть» — говорил мне **Лоренц** — «при Зоомузее, при Отделе Млекопитающих и Птиц еще один зоолог по фамилии **Житков**, тот держится самостоятельно, тот — сам по себе»...

Да, тот держался независимо...

Самостоятельным был до конца Борис Михайлович и в науке, и в преподавании, и в жизни, при общении со всеми его знавшими.

Он шел своей дорогой, как ученый и как университетский деятель, не идя в поводу ни у кого и не прислушиваясь ни к кому, и не прислуживаясь ни к кому, но доверяясь только зоркости своего глаза, остроте ума.

В этом залог его успеха, как ученого и как преподавателя.

Но в этом же источник и не малых огорчений, выпавших на его долю.

Эти огорчения покойный навсегда унес с собой.

А достижения, а успехи?

Они вылились в миллионы долларов и стерлингов Советского пушного экспорта; — они сказались в школе даровитых молодых ученых, Школе, созданной Житковым, и в его чудесных книгах...

Отразились, наконец, эти его успехи в той короткой скромно-величавой реплике, которая невольно просится нам в слово каждый раз, когда мы вспоминаем о **Житкове**, на которой я уверен, сходятся все знавшие его.

На этой реплике, на этой фразе, вызванной в свое время нашим душевнейшим писателем и провозвестником грядущей светлой жизни, нашим **Чеховым**, — Вы и позвольте мне закончить этот бледный очерк, посещенный старому учителю его стареющим учеником.

Простая и всепримиряющая эта реплика столь же скромна и величавая, как и вся жизнь Бориса Михайловича.

Содержит эта реплика только **четыре** слова, старые, но вечно новые:

«**Какое наслаждение уважать людей!**»

Памяти профессора Л.М. Кречетовича

20.XII.1956

«Тихо удаляются старческие тени» — хочется именно так сказать словами малосовременного поэта и мыслителя перед открытым гробом **Кречетовича**.

Мой давний дорогой соратник по служению науке и культуре.

Не часто приходилось нам встречаться за последние сорокалетие, не чаще, может быть, чем раз в десятилетие. Тем чаще мы встречались полстолетие тому назад в стенах того единственного в своем роде Учреждения, от которого доселе сохранилось внешне лишь красивейшее и по внутренней структуре здание во всей нашей столице, здание, воздвигнутое на грошовой взнос русской девушки и женщины в виде протеста против царского запрета Высшего Женского Образования в казенном Университете.

Эти годы нашего совместного служения высшему Женскому образованию эти далекие годы сблизили, объединили нас. И потому да будет мне позволено сказать несколько слов о **Кречетовиче**, каким он был тогда и в сущности каким остался он до конца в своей нелегкой много трудной жизни.

Два пламенных влечения, два великих дара он принес с собою в жизнь, в стены нашего бывшего Женского Университета: Любовь к самой изящной из биологических наук и к самой чуткой, благодарной аудитории, именно **женской молодежи**.

Этот мир растений, мир цветов зачаровал покойного при его жизни, как зачаровала его молодая аудитория, увы! рассеявшаяся затем по необъятной нашей Родине и лишь в немногих любящих его сердцах дожившая до наших дней.

Но эта юная былая аудитория и эти вечно юные цветы как будто наложили свою руку, и свой светлый отпечаток на чело, на облик, на всю жизнь, отданную безраздельно двум кумирам, двум влечениям: **цветам и молодежи**.

Ученик двух выдающихся ботаников-флористов (профессоров **Голенкина** и **Горожанкина**) и видных университетских Лекторов и педагогов **Мензбира** и **А.П. Павлова**, покойный мог оформить этот свой двоякий зов, как педагога и ботаника.

С прискорбием приходится отметить, правда, что не все, что мог бы дать своей любимой Родине, наша страна смогла, сумела получить, усвоить в должной степени.

Но более, чем где либо приходят здесь на память вещие слова когда то сказанные, более ста лет тому назад в Московском Университете одним из самых светлых, замечательных его сынов, а именно, что

«Отвечают люда лишь за чистоту намерений и за усердие выполнения, а не за отдаленные последствия своего труда»

И заключая мои краткие, как скорбный вздох, слова прощания посвященные покойному, да будет мне позволено здесь высказать мое глубокое, живое, жизненное убеждение, обращенное к покойному, как **если бы он был при жизни**:

Более неувыдаемым, чем все эти цветы, эти венки и ленты, сохранится навсегда **венок**, незримо сотканный, сплетенный чувствами любви и почитания всех тебя знавших и любивших, благодарных глубоко за все им данное тобой, за все твои дары, за свойства Твоей чуткой, тонкой и большой души: за Твою дивную науку, за сердечность мысли при общении с молодежью, и, конечно, всего прежде, всего более, за то, что всего выше и ценнее всех научных достижений и успехов в жизни и в ее служении: за неподкупность нравственного чувства.

Вещими словами одного глубокого писателя-мыслителя чужой страны, но друга нашей нынешней Страны Советов, да прозвучит мое прощальное «прости»! **На своем жизненном пути ты сделал все, что мог! По мере сил, нет — свыше твоей силы, ты боролся, ты страдал, творил. Ты не мог сделать больше!** Это сознание, как **венок нашей любви к тебе ты унесешь с собой навеки, а не только в памяти всех тебя знавших и тебя любивших!**

Памяти Научной Сотрудницы Дарвиновского Музея Веры Александровны Чистяковой

В наши дни, когда любой из нас, готовясь к ночи и ко сну, не знает, где, когда и как ему дано проснуться, даже в эти дни, овеянные смертью, неожиданный уход из жизни Веры Александровны **Чистяковой** отзывается у всех ее знававших чувством непередаваемой душевной боли.

Выполнив достойно свой дочерний долг перед умершей матерью, дочь, неожиданно для всех последовала за ней.

И вот — два гроба, две кончины, две прервавшиеся жизни, столь различные по силам и таившимся возможностям.

Одна — потухшая, как еле теплившаяся лампада, постепенно и естественно угасшая за иссяканием горячего.

Другая, пламеневшая так бурно, ярко и так неожиданно задутая, жизнь, так много обещавшая себе, и близким, и служению обществу на светлой ниве умственной культуры.

Жизнь любого человека, независимо от его роли и значения в семье и обществе, является в известном смысле абсолютной и незаменимой ценностью, поскольку каждый человек является неповторимой индивидуальностью.

Но только в отношении общественных работников достаточного «ранга» принято открыто говорить об их «незаменимости»...

Известно также, как всепобеждающее и всеисправляющее время делает поправку на людские завышения оценок, как казавшиеся столь незаменимые при жизни люди часто слишком скоро и легко находят заместителей и вместе с ними ..горькое забвение.

Но почему по отношению к людям стиля Веры Александровны понятие «Незаменимости» звучит особенно настойчиво, правдиво, искренно и справедливо?

Потому что с Верой Александровной ушел из жизни деятель, работник умственной культуры редкого **морального** диапазона, педагог не по профессии, но по **призванию**.

В чем же особенность работы и служения этих «избранных» на ниве умственной культуры, этих педагогов «Божьей Милостью»?

Эту особенность мы видим в том, что в убеждении истинного педагога самое служение его является для самого него источником неизъяснимой **радости**, неиссякающего **счастья**.

Именно так, под знаком радости воспринимала Вера Александровна свою работу в Классе, в Аудитории, в Музейном Зале.

Каждое, любое слово ее лекции произносилось с радостью, каждый урок и каждая экскурсия, ею руководимая, являлась для нее на положение **праздника**.

— «Какое счастье!» так восторженно и убежденно говорила Вера Александровна за пару дней до ее смерти..«Что за счастье от сознания возможности делиться своим знанием, давать его другим, общаться с аудиторией! Какая радость в самом акте передачи знания другим, кому оно полезно и необходимо!»

И едва ли нужно говорить, что эта радость, эта праздничность общения со слушателями чувствовалась и воспринималась аудиторией и порождала ту созвучность и тот исключительный успех, которым пользовалась Вера Александровна, как педагог, как лектор, как экскурсовод в Музее.

Да, согретое горением сердца слово находило себе путь в сердца, а не одни только умы людей.

Об этом нам свидетельствуют сотни отзывов, восторженных признаний и высказываний, яркие слова горячей благодарности, переполняющие «Книгу Отзывов» нашего **Дарвиновского Музея**.

Как знаток и виртуоз, как мастер своего признания Вера Александровна не знала усталости, не знала утомления в своей работе: сотни, тысячи экскурсий по Музею за десятки лет и неизменно тот же энтузиазм, тот же пафос, то же пламенное и неугасимое горение.

В самом буквальном, подлинном, реальном смысле слова можно было применить к покойной слово «**Просвещенец**», как идейный факел, светоч мысли, несший знания другим, в народ, в людские массы.

Но, увы! Чем ярче пламя, тем скорее и внезапнее оно сгорает!

Слишком ярким пламенем горело рвение Веры Александровны и слишком быстро, преждевременно она сгорела.

И, однако, ценная в любом разделе, в каждой области культуры эта преданность своему делу потому особенно существенна на ниве просвещения, что таланты лектора и педагога предопределяют личные его достоинства, как человека, его теплое, сердечное влечение к людям, к молодежи...

Протекут года.. Наш **Дарвиновский Музей** дождется своих новых и просторных стен, раскроет их для тысяч, для миллионов зрителей. Найдутся для обслуживания их и новые «экскурсоводы-лектора».. Но Веры Александровны уже не будет с нами!

Никогда уже больше не услышим мы ее горячего и убедительного слова, так насквозь проникнутого изумительным умением влагать в него любовь к Природе и влечение к людям, и служению им.

Пройдут года, ее бывшие слушательницы **Курсов Медсестер** рассеются по нашей необъятной Родине, исполнив свой великий долг перед страной в это тяжелое и героическое время, время испытания воли, преданности делу каждого из нас.

И так хотелось бы, чтобы все мы, собравшиеся здесь у этой дорогой могилы, унесли с собой не только светлые воспоминания об облике покойной и ее идейном подвиге, но, чтобы, расходясь, мы унесли с собой и некий жизненный завет, **идейное наследие** от светлой жизни Веры Александровны, ее служения... культуре Родине.

Да будет мне позволено с этим заветом обратиться всего прежде к молодым друзьям покойной, к Слушательницам **Курсов Медсестер**, к которым отношение ее было особенно интимное..

Как часто, сколько раз в течении последних лет своей работы в **Дарвиновском Музее** Вера Александровна была готова сомневаться в том, насколько **содержание** ее лекций отвечало увлекательной и убежденной **форме**... И повторно спрашивала она меня, не слишком ли мы упрощаем содержание нашей науки?

На сомнения эти я ответить мог только словами одного из наших величайших гуманистов:

«Люди несут ответственность только за чистоту намерений и за усердие выполнения а не за далекие последствия их труда!»

—/Т.Н. Грановский/

Именно в этом смысле я готов облечь завет покойной в нижеследующие слова, адресовав их к слушательницам **Медкурсов**:

Что Вы будете давать Вашим больным и раненым в роли сестер больниц или госпиталей, **что** именно Вы будете конкретно предлагать Вашим больным — это во многом будет не от Вас зависеть, но от состояния науки, от ресурсов материальных и людских, которые на деле могут быть несовершенны, как и все людское... Повторяю, за саму науку, Медицину, Вы не будете нести ответственность.

Но **как** Вы будете нести Ваше служение, **как** Вы будете обслуживать Ваших больных, или их близких, **как** Вы будете к ним относиться — это целиком зависеть будет лишь от Вас, и только, и единственно от Вас...

Поймите и запомните, что при общении с больными Вы несете полную ответственность, Вы отвечаете за каждый жест, за каждый взгляд, за каждое приветливое или неприветливое слово и за каждый самый мимолетный знак досады или нетерпения ...

Внесите же в Ваше общение с людьми и с Вашими больными ту сердечность, чуткость, теплоту, ту **человечность**, ту любовь, симпатию, которыми так исключительно богато было сердце Веры Александровны, так преждевременно сгоревшее.

Исполните этот простой завет во имя в память о покойной Вере Александровне и это будет лучшим и неувядаемым венком над преждевременной ее могилой, лучшим знаком Вашей благодарности за то, что она сделала для Вас, бывших ее последней, предзакатной, заключительной любовью...

Моей давней, дорогой и верной ученице, преданной сотруднице нашего **Дарвиновского Музея**, от лица его сотрудников и сослуживцев, от бесчисленных учеников и учениц — последнее и благодарное **Прости!**

Памяти Вячеслава Аверкиевича Дейнеги

Старейшему моему соратнику на поле скромного культурного служения последнее «прости»!

Ушел от нас, ушел из жизни самый давний, преданный сотрудник Михаила Александровича **Мензбира**. Покинул нас наш Вячеслав Аверкиевич.

И да будет мне позволено сказать несколько слов в воспоминания о нем.

Охватывая общим взглядом деятелей умственной культуры, иногда напрашивается их разделение, пускай условное, на две группы.

Группа одна охватывает ряд ученых и порой крупнейших реформаторов, новаторов науки. И, однако, многие из этих корифеев знания оставляют нас холодными, коль скоро мы от образов ученых перейдем к их повседневной жизни и общению с людьми: их роль и ранг ученых как бы заслоняет облик человека.

И недаром, восхваляя их научное наследие некрологи-биографы бывают вынуждены обходить молчанием личные свойства этих деятелей мысли при общении с людьми и в человеческом быту.

Но есть другая группа лиц в ученом мире и, по счастью, более обширная. Их представители порой не блещут подлинным новаторством научной мысли, но, внося посильный вклад в науки, эти люди вносят несравненно больший вклад в общение с людьми своим открытым, теплым, подлинно культурным отношением к ним.

Но именно таким ученым представителем высокой нравственной культуры был покойный Вячеслав Аверкиевич Дейнега.

Восстанавливая в памяти его прекрасный внешний облик за истекшие полвека моего знакомства с ним, я не припомню случая, чтобы ему, этому облику, был несозвучен неизменно мягкий и приветливый, отзывчивый характер Вячеслава Аверкиевича при общении с людьми.

Помню его, едва окончившим Московский Университет, внештатным ассистентом **Мензбира** в скромных стенах «Сравнительно-Анатомического Кабинета» Шереметьевского переулка; — Помню штатным ассистентом в вновь построенном институте; — Помню в грозную годину полного разгрома Университета произволом царского правительства, когда за увольнением Мензбира последовала добровольная отставка Вячеслава Аверкиевича; — Помню его на Высших Женских Курсах... И везде и всюду та же простота, открытость, и приветливость, какая-то светящаяся изнутри культурность чуткого, отзывчивого человека.

Я не помню случая, чтобы за годы долгого совместного служения с Вячеславом Аверкиевичем, у него бы вырывалось подобие бестактности, даже простого нетерпения при общении с людьми высокого или простого звания, будь то в общении со студентами, товарищами по работе или лицами технического персонала.

И позднее, где бы и когда бы ни встречался я с покойным — всего прежде поражали то же теплое, доброжелательное отношение, готовность всячески помочь, откликнуться посильно на любое обращение.

Помнится, как год тому назад пришлось мне обратиться к Вячеславу Аверкиевичу по поводу одного дела, не касавшегося ни его, ни Общества. И надо было видеть, как немедленно и горячо откликнулся покойный и в кратчайший срок провел просимое мероприятие.

Мне всегда казалось, что у Вячеслава Аверкиевича не было и не могло быть личных недоброжелателей, но если даже были таковые, то не по вине покойного. Одно присутствие его вносило, что-то светлое и примиряющее в отношении людей: незримое влияние глубокой подлинной культурности, пронизывавшей существо покойного.

Вот почему и над открытым гробом Вячеслава Аверкиевича к грусти и горечи по поводу нашей утраты, как то примиряюще примешивается сознания счастья, что дано нам было общаться столько лет с одним из редких тех людей, что источают свет, тепло и мир одним своим присутствием.

Пусть же надолго сохранится в памяти прекрасный образ человека, так счастливо сочетавшего и ясный ум, и подлинную, настоящую культуру сердца, в подтверждение давней истины, гласящей, что

«**Моральная высота людей — ценнее интеллектуальной**» .

Памяти Петра Васильевича Лютенкова

13.X.1944.

В небывало героическую пору отмечаем мы эту единственную в своем роде смерть.

И в самом деле.

В дни, когда несчетные сыны и дочери России кровью закрепляют свою преданность нашей великой Родине на необъятном протяжении от Немана и до Дуная, под немолчный гул орудий, здесь, в Москве, в тиши музейных стен трагически прервалась жизнь скромного ученого и педагога.

И, однако, почему же эта смерть воспринимается как то особенно мучительно и скорбно, даже в обстановке боевого времени, на фоне тех неисчислимых жертвенных утрат, которые потребовала эта величайшая из войн и величайшая из всех когда либо одержанных побед?

И почему эту трагическую смерть не в силах заглушить ни те бесчисленные жертвы, ни перекрывающие их победные салюты?

Потому что умер редко-даровитый энтузиаст своего дела, умер жертвой своего же энтузиазма.

Потому что умер человек, горевший своим делом и сгоревший на своем посту в самом буквальном смысле слова...

Потому что умер подлинный горячий друг нашей Советской молодежи и погиб в заботе о ее культурном росте, с думами о ней, забыв ради нее себя.

Именно так смотрел на свою роль и на свое призвание тот, с которым мы прощаемся сегодня.

Человек, энтузиастично преданный своей работе, он не только выполнял ее: он изживался в ней, поскольку труд и жизнь для такого человека безраздельны и любимый труд был для него мерилем радости и счастья.

Но не частое и вообще это умение вживаться радостно в свой труд приходится тем более ценить, что самое призвание почившего, что самая его наука — **Физика**, не слишком благодарна для научной массовой наглядной популяризации.

Известно, как старанием сухих учебников и нудных педагогов бесконечно много было сделано, чтобы внушить томление и скуку при одном лишь слове «Физика», как обескровлена, засушена в учебниках эта чудеснейшая из наук.

Но уходя корнями в мир незримых и неосязаемых процессов, этот мир физических явлений, это царство формул и абстрактных цифр и кривых — нуждается в особенном подходе, чтобы захватить внимание массового зрителя его поэзией, его романтикой...

И этот дар присущ был нашему почившему в предельной степени.

Не даром так многообразно изощрялся он в приемах, методах аргументации, направленной к тому, чтобы зачаровать, заморозить любую аудиторию.

И подчиняясь воле, власти экспериментатора, покорно повинаясь опытной его руке, играли, пели аппараты, стройно размещались в вихревых движениях железные опилки, двигались колесики и рычажки, со звуком поясняющему слову лектора, мелькали, вспыхивая, или угасая искры света вперемежку с блестящими ума, умелой речью, меткими сравнениями, тонкой шуткой..

Многократно приходилось мне присутствовать при этих опытах и демонстрациях и каждый раз мне оставалось только поражаться виртуозности, с которой подносились зрителям наглядно, ярко с подкупающей

простотой сложнейшие завоевания новейшей физики, в этом незримом мире электронов, этих скрытых властелинов видимого мира.

Словно некий маг и чародей, умело властвовал покойный в своих залах над невидимыми силами природы, над своей аппаратурой, царством стали, меди и стекла, умело, мастерски на ней играя, извлекая из нее чарующие, грандиозные симфонии побед технического гения.

И, как в старинных сагах, вызванные к жизни разрушительные силы обратились на лицо, их вызвавшее из незримых недр, так и наш покойный пал трагичной жертвой сил, над выявлением которых он трудился так восторженно и так самозабвенно.

Здесь достаточно напомнить о ближайших обстоятельствах этой трагичной гибели.

Готовясь к предстоящим школьным демонстрациям отдельных глав электротехники, покойный накануне дня показа проверял наличную аппаратуру.

Можно было бы не сомневаться, что и без этих проверочных работ приборы действовали бы безотказно, но привыкший к идеальной слаженности демонстрации Петр Васильевич не поступился и на этот раз затратами труда и времени.

И проверяя провода высоких напряжений, забывая о таящейся за ними грозною опасностью, работая над ними, мысленно предвосхищая будущий восторг, который обещают опыты, он приослабил должное внимание к себе.

В заботе об обслуживании молодежи, он забыл себя.

Но наказуя одинаково незнание и недосмотр, грозный мир незримых сил Природы словно выжидал малейшую ошибку в оперировании с ними.

И этот промах был допущен: опытный, предельно искушенный мастер допустил его и с тем жестоким равнодушием, с которым мертвая природа наказует промахи, она смертельно покарала своего горячего адепта.

Знаменательная, символичная кончина, если мы припомним, как старательно подчеркивал покойный **материальность**, вещьность всех физических явлений, не взирая на незримую подлинных процессов, протекающих за гранью видимого мира.

Роковая скорбная случайность перервала жизнь тою грозной силой, изучению и демонстрации которой так любовно посвящал себя почивший.

И затих музей. Замолк романтик и поэт науки. Призатихло, приостановилось в своем рокоте, своих движениях царство электронов, так изящно и художественно-просто выявлявшееся им при жизни.

Будем думать, что зажженные его талантом и горячей преданностью молодежи и наке, станут у штурвалов грозных аппаратов новые, достойные их управители.

Но не легка будет позиция и велика будет ответственность этих сотрудников, имеющих сманить талант, и знания, и преданность науке, и горение умом и сердцем, сжогшее покойного.

Так пусть же образ этого талантливого педагога, подлинного друга молодежи сохранится в сердце молодого поколения, как вдохновляющий пример служения родной культуре и родной стране.

А нам, оставшимся работникам на скромной, незаметной свиду а на деле величавой ниве умственной и нравственной культуры, остается ближе и тесней сомкнуть свои ряды, ряды стареющих хранителей былого знания и пионеров нового и молодого, приходящего ему на смену.

И заканчивая мое слово, посвященное усопшему, да будет мне позволено, созвучно нашей героической эпохе, заключить его тонами бодрости и упования.

Прощаясь с этим дорогим нам прахом скромного героя тыла и товарища по общему оружию, уместно заключить наше прощание в следующее обращение:

Дорогой товарищ! Мы скорбим о недосмотре, о самозабвении, вырвавшем тебе оружие из рук, но самое оружие Твое и Твой чудесный пафос, Твою редкую самоотверженность во имя знания, его несения широким массам, в жадные, пытливые умы и чуткие сердца нашей чудесной молодежи, этот Твой неиссякаемый неугасимый энтузиазм, Твою пламенную веру и любовь к науке, в наши силы, нашу молодость и нашу Родину — мы унесем с собой и завещаем нашей смене, как и память о Тебе!.

Памяти Николая Михайловича Кулагина

В одной известной повести **Тургенева** с ее, как и обычно, грустным эпилогом, автор повести устами своего героя хочет нас уверить что смешно и неразумно доносить до старости свой юношеский энтузиазм.

Но, конечно, выражаясь так, великий сердцевед-художник был всецело сын своего времени, точнее: грустного безвременья.

И все бездонное отличие нашей эпохи от середины прошлого столетия, как в фокусе, как в призме, отражается в этом одном вопросе и нашем **теперешнем** ответе на него:

«Действительно ли так смешно и неразумно доносить до старости свой юношеский энтузиазм?»

И мне думается, что прекрасным, убедительным опровержением Тургеневского пессимизма может послужить путь жизни и работы, и служения того ученого, которого духовный облик в этот вечер нам с предельной ясностью хотелось бы восстановить перед собою.

Памятуя поздний час, я ограничусь лишь немногими эскизами для подтверждения высказанного положения.

За все время моего сорокалетнего знакомства с Николаем Михайловичем **Кулагиным** были у нас с ним встречи, самые разнообразные по самым разным поводам и в разной обстановке.

Из бесчисленных воспоминаний, связанных с покойным, я позволю себе беглым образом остановиться лишь на **трех**.

Первая встреча. Сорок лет тому назад. Осень 1900 года. Московский Университет. Зоологический Музей. Старое его здание, сумрачное, неприветливое, от которого доселе не осталось ни следа.

Высокие шкафы, забитые коллекциями: тысячи птичьих и звериных чучел, в разных, всего чаще архаичных позах, заполняют полки и глядят на зрителей стеклянными глазами.

Во всем зале — затхлый, спертый воздух от удушливых мышьячных испарений шкур и нафталина. Во всем зале — жуткий полумрак из-за заставленности мебелью и гробовая тишина, лишь изредка перерываемая робким говором студентов или величавым голосом профессора, сопровождаемым бречением брелоков на его бронзово-пуговичном фрачном сюртуке.

И вот на фоне этой архаичной обстановки старого музея и академической патриархальности особенно контрастно выступает в моей памяти живой, подвижный образ Николая Михайловича **Кулагина**, бывшего нашего руководителя по Курсу Прикладной Энтомологии.

Впервые после замурованных «футлярных» педагогов доброй и недоброй памяти Гимназии и первый раз на фоне синефранчной профессуры, хмурой, недоступной, — мы увидели ученого, простого и открытого, готового по окончании занятий приостаться с нами, чтобы побеседовать на тему лекции, и все это в такой простой и задушевной форме, что невольно забывалось расстояние, отделявшее доцента от неоперенных желторотых первокурсников-студентов.

Самая методика занятий поражала простотой манеры дикции, той живостью, тем увлечением, которые сам Николай Михайлович, вносил в преподавание. И надо было слышать, как любовно и с каким теплом про-

износились им латинские названия любимых насекомых, чтобы понять то уважение, которое в нас вызывали не одна лишь личность лектора, но и бесчисленные шестиногие его любимцы.

Очень может быть, что то благоговение, с которым я на лекциях **Кулагина** смотрел на заспиртованных кузнечиков и тараканов, было поводом к тому, что Николай Михайлович предложил мне — первокурснику-студенту, специальные занятия по анатомии насекомых, разрешив мне пользоваться его собственным рабочим местом, именно в одной из знаменитых «клеток», огороженных решеткой уголков на хорах помещения музея, и вручив мне ключ от ее двери.

И, конечно, ни один вельможа или царедворец не гордился так при даровании «камергерского ключа», как возгордился я при получении от Николая Михайловича права пользования его рабочей комнаткой и «клеточным ключом».

Припоминается и то, как приходилось мне за получением материалов выезжать, по приглашению Ник. Мих. в Петровское-Разумовское в его тогдашний институт.

И ныне, по прошествии почти полвека, ярко возникают в моей памяти эти воскресные былые выезды: и золотая осень, и пискливый крохотный паровичек, и светлые, приветливые стены Института и приветливые встречи с Николаем Михайловичем, так предупредительно меня снабжавшим всем необходимым для моей работы.

И хотя впоследствии мне не пришлось работать специально по Энтомологии, но образ первого мне встретившегося ученого-доцента-демократа врезался неизгладимо в моей памяти.

Но вот проходит **двадцать** лет и образ первого демократичного **профессора**-ученого опять придвинулся на моем жизненном пути.

То было в первые годы после Октябрьской Революции — судные годы, годы испытания верности науке и родной стране для русского ученого и гражданина.

Осень 1909 года. Центр города, Ильинка. Вековые своды здания «Гостиного Двора». Очередное заседание ученого Совета при Коллегии «**Главмеха**». Обсуждается вопрос о мерах по борьбе с вредителями, — «шестиногими», из мира насекомых. Полное бездействие, за недостатком топлива всех холодильных аппаратов, как и недостаток рабочей силы вызвало массовое заражение пушнины кожеедами и молью.

Приглашенный в качестве музейца и борца с музейной молью на означенное совещание, я застал там Николая Михайловича, обсуждающего горячо различные приемы или способы обеззараживания пушнины.

Прожитые двадцать лет лишь мало отразились на наружности **Кулагина** и ни в малейшей степени на живости, манере говорить, манере обращения. С такой же простотой, с которой он когда то вел занятия в Музее со студентами, он вел беседу с пушниками и рабочими. Можно уверенно сказать, что лишь немногие ученые-зоологи того же ранга и того же возраста способны были так легко, свободно, без опасности вульгаризации вести научные беседы с малоподготовленными слушателями так, как это удавалось Николаю Михайловичу.

И объяснялось это всего прежде той здоровой, искренней, природной **органической** демократичностью, которая так привлекала нас бывших студентов при занятиях с Кулагиным в Московском Университете.

Именно она, эта полнейшая непритязательность, понятность речи, формы обращения, согреваемые чувством подлинной симпатии к предмету, как и к аудитории, делали то, что, как ученый-популяризатор, Николай Михайлович пользовался исключительным успехом.

Этому успеху помогали и другие факторы.

Так, всего прежде, основная специальность Николая Михайловича, как знатока **пчелы** и **Пчеловодства**, — этой в некотором смысле наиболее демократической и популярной отрасли всей Зоологии.

И, во вторых: давнишнее влечение **Кулагина** к научной и серьезной популяризации, и колоссальный опыт его в этом деле. Это давнее его стремление к несению научных знаний в массы выявилось очень рано, на

студенческой скамье, и первые печатные работы Николая Михайловича закрепляют это раннее участие **Кулагина**-студента в деле постановки Воскресных чтений для рабочих в **Политехническом Музее**.

И с **Политехническим Музеем** связаны и самые последние мои воспоминания о Николае Михайловиче.

Относятся они все к тем же первым героическим годам после Великой нашей Революции, — годам проверки каждого тогдашнего ученого на преданность его родной науке и родной культуре.

Мерзлые стены каменной громады **Политехнического Музея**. Ледяные стены и горячий энтузиазм его работников, и среди них Заведующего Отделом прикладной Зоологии, все того же Николая Михайловича, в его заботе в корне освежить экспонатуру вверенного ему Отдела, увязать его с новыми требованиями нового общественного строя.

По рекомендации **Кулагина** Совет Музея Прикладных Наук тогда же пригласил меня к практическому проведению этих реформ в Отделе Зоологии, по приведению его экспонатуры в соответствие с новыми требованиями охотничьего дела и пушного промысла.

Припоминается, как регулярно посещая меня в Политехническом Музее Николай Михайлович, следя за продвижением моих работ, не без труда взбираясь по громадным и антигуманным лестницам «Музея-Лефнафана», но всегда приветливый, всегда горящий своим делом, без малейшего следа официальности и формализма.

Видя, как с трудом, медлительно, переводя дыхание, поднимался Ник. Мих. по бесчеловечным лестницам Музея, можно было опасаться, что физические силы старого ученого до времени иссякнут, что начнет сдаваться и его психическая бодрость.

Жизнь не подтвердила этих опасений. Почти целое еще **двадцатилетие** дано было еще прожить и творчески- активно проработать Николаю Михайловичу, работать с той же бодростью, и с тем же энтузиазмом, как и в ранние, былые годы.

И, однако, этой долгой неослабной синхронности работы сердца и ума грозила все же величайшая опасность.

Не считаясь со своим преклонным возрастом старый ученый переоценил свои физические силы и ускорил их начавшееся догорание.

И словно пожалев эту не знавшую покоя жизнь, смерть с налета, неожиданно настигла старого ученого и этим во время уберегла его от самого тяжелого, что может быть для действенной, энтузиастической натуры: — долгой и бездательной инвалидности.

Он умер, лишь немного не доживши до 80 лет. И все же смерть его воспринимается, как преждевременная: слишком явно диссонировали в нем физическая старость и не знавшая покоя умственная бодрость.

Всею своей долгой жизнью покойный доказал воочию **неверность** мысли о пределах, налагаемых на энтузиазм возрастом, свидетельствами «паспорта»!

Вот почему, мы на вопрос, поставленный в начале нашей речи, — на вопрос: «Действительно ли неразумно и смешно пытаться доносить до старости свой юношеский энтузиазм?» мы, ссылаясь на примеры нестаряющихся, «бессрочных» энтузиастов стиля **Николая Михайловича Кулагина**, — уверенно и твердо отвечаем:

«Для природного ученого рабочий энтузиазм угасает только с его смертью!»

На смерть Ник. Конст. Кольцова и М.П. Садовниково-Кольцовой

Всякая смерть настраивает на раздумье и раздумье это наиболее уместно именно сегодня, здесь, над этими двумя гробами.

И поэтому так кратко будет мое слово, посвященное тому **Кольцову**, знать которого мне выпало на счастье в молодые годы:

Это было тридцать с лишним лет тому назад, когда совместно с рядом выдающихся ученых того времени **Кольцов** взял на себя почетнейшую роль в организации в Москве Первого Женского Университета, как прообраза, как прототипа будущей свободной Высшей Школы.

Долгие двадцать лет стоял покойный во главе им созданной Зоологической Лаборатории и ряда связанных с ней курсов, позавидовать которым было бы уместно величайшим университетам зарубежных стран.

Многие тысячи «кольцовских» учениц рассеялись с тех пор по нашей Родине. Но лишь немногие из них догадывались о научном ранге их учителя.

Только ближайšie его ученики и ученицы знали, что талантливый организатор, выдающийся ученый-лектор и блестящий полемист-писатель, обаятельный, крестально-чистый человек, открыто бросивший когда то вызов университетским бюрократам и царизму, столь доступный в обращении молодой **Кольцов** уже в ту пору был овеян мировою славой европейского новатора-ученого.

Можно уверенно сказать, что за все время долгого и славного существования московского Университета не было зоолога, питомца его стен, который в сходной мере совмещал бы дарования научного организатора, ученого и лектора, который пользовался бы такою же известностью, как молодой **Кольцов**.

Новатор-пионер в одной из самых трудных дисциплин, в науке о структуре клетки, молодой **Кольцов** уже в ту пору был виднейшим и известнейшим цитологом России, к мнениям которого прислушивался весь ученый мир.....

И эта жизнь ученого-новатора прервалась. Вместе с нею пресекалась и другая жизнь, его преданной помощницы, жены и друга: преждевременно угасшему ученому-учителю последовала и его бывшая ученица, а позднее верная соратница в науке и на жизненном пути, долгие тридцать лет делившая с ним радости и горести большой и сложной, многогранной жизни, не всегда созвучной духу времени, но неизменно искренней, правдивой и идейно-творческой.

«Сильнее смерти» можно было бы сказать словами русского писателя, которого при своей жизни так любил покойный.

И сейчас, в этот прощальный час, нам, бывшим молодым соратникам покойного в нашей былой совместной радостной борьбе за **Женское Образование**, нам остается только с благодарностью склониться перед прахом, перед бранными останками двух жизней, преждевременно угасших, но так беззаветно отдававшихся служению великим идеальным целям:

Мировой Науке, Русской женщине, родной Культуре.

Памяти Сергея Александровича Бутурлина

В лице С.А. **Бутурлина** ушел из жизни третий по научному и возрастному стажу русский орнитолог.

Протекло уже не мало лет, как проводили мы в могилу **Сушкина**, недавно схоронили **Мензбира**, настала очередь и для **Бутурлина**.

Можно уверенно сказать, что среди русских орнитологов этого старого поколения Сергею Александровичу принадлежало если и не самое передовое место, то бесспорно самое заметное и самобытное.

И в самом деле. Академик Сушкина, академик Мензбир были люди и ученые академического мира, и прошли они обычный и нормальный путь ученого, единственно возможный и доступный при царизме: путь ученого от университетской кафедры.

Совсем иначе путь этот сложился для **Бутурлина**.

Не получив естественно-научной университетской школы, но **юрист** по своему образованию, покойный, как натуралист сложился и оформился в общении с самой Природой и отчасти под влиянием работ такого же натуралиста-самоучки, именно *Аксакова*.

В итоге — необычный и малоизвестный для бывшей России тип натуралиста, не прошедшего академического стажа, но не уступавшего по эрудиции и по признанию любому академику.

Это отсутствие обычного академического стажа ни в малейшей степени не отражалась на научности трудов покойного, но обеспечило за ним одно существенное преимущество: мы разумеем независимость, свободу от академических традиций, слишком часто тормозящих и стесняющих науку и лишаящих ее той подлинной свободы, без которой не было и быть на может ни действительной науки, ни достоинства ученого.

Так оно было в случае **Бутурлина**.

Несвязанный традициями кафедры, он выступил еще в исходе прошлого столетия как пионер «тройной» номенклатуры в пору почти полного отказа от нее в академических кругах России. Долгими годами, неустанно и настойчиво боролся **Бутурлин** за эту новую систему изучения живых существ, чтобы гораздо позже, на глазах у нас, добиться полного ее признания.

Этот успех С.А. являлся до известной степени итогом замечательного сочетания талантов и влечения покойного, как природного **натуралиста** и образования **юриста**.

Первое, таланты и стремления натуралиста обеспечили феноменальный «Бутурлинский» глаз, усматривавший много там, где большинство предшественников ничего не видело.

Второе — юридическая школа, обеспечивала четкость и чеканность классификационных норм и диагнозов.

А в итоге этого союза «Музы» и «Фемиды» тот неоспоримый факт, что для известного отрезка времени «наш» **Бутурлин** считался самым сведущим орнитологом нашей страны, авторитетом, знатоком международного признания и ранга.

И, однако, над открытым гробом и в устах бывших друзей и почитателей умершего значение и роль ученого невольно отступает перед свойствами его, как человека и общественного деятеля.

Как писатель, исключительно, на редкость плодовитый общее количество печатных «бутурлинских» выступлений измеряется не сотнями а тысячами, как сотрудник большинства охотничьих журналов **Бутурлин** мог опереться на обширные круги корреспондентов и читателей на всем громадном протяжении нашей страны.

Привыкший издавна, из года в год, сноситься со своей заочной аудиторией посредством писем и печати **Бутурлин** с большой готовностью и неизменно откликался на все лично обращенные к нему запросы.

Обращались же к Сергею Александровичу постоянно и по самым разным поводам, то за содействием в определении научных материалов, то за получением такового, то за справками литературного характера, за указанием научных книг.

И вспоминая эти обращения, не знаешь, чему более дивиться: изумительной ли памяти покойного, его бездонной эрудиции, громадному ли опыту, или неиссякаемой готовности всегда притти на помощь словом или делом.

Полевой натуралист крупнейшего масштаба, сам избородивший много тысяч километров от Кавказа и до Колымы наш **Бутурлин** был лично связан с сотнями коллекторами и охотниками, пользуясь издавна среди них непререкаемым авторитетом.

Мне всегда казалось, что не существует места нашей необъятной Родины, где у Сергея Александровича не было бы персональных связей, где одно лишь его имя, где одна лишь ссылка на «Бутурлина» не открывала бы все двери, все сердца его бесчисленных друзей и почитателей.

И в этом смысле можно утверждать, что в продолжении десятков лет, до самой своей смерти, **Бутурлин** был самым популярным, ибо наиболее отзывчивым зоологом России.

Эта редкая отзывчивость ученого, конечно, только отражала на себе отзывчивость большого и открытого характера, душевной чуткости.

Не будучи знаком с **Бутурлиным** иначе, как по линии научной, не принадлежа к его друзьям в более тесном смысле слова, ничего не зная ни о детстве, ни о юности покойного, ни вообще о личной его жизни, я лишен возможности проиллюстрировать душевный его облик ссылками на его жизнь вне его научного призвания.

Однако, яркие, большие индивидуальности обычно тем и выделяются, что свои личные переживания они переключают на служение обществу и делают неотделимыми успех ученого от свойства человека.

Прилагая сказанное к Сергею Александровичу, следует сказать, что даже людям, далеко стоявшим от приватной его жизни, личные душевные его черты, как человека, выявлялись ярко и красноречиво.

В подтверждение сказанного только два примера.

Одаренный ярко выраженным литературным дарованием и, в частности, незаурядным поэтическим талантом **Бутурлин**, в часы досуга, между делом, занимался и писанием стихов, нередко помещая их, обычно анонимно, на страницах сборников охотничьего содержания.

Незатейливые по сюжету, но прелестные по форме, эти затерявшиеся по охотничьим изданиям бутурлинские стихотворения, согреты любовью к людям и природе, полные ее живого образного понимания, конечно больше говорят о чисто-человеческих чертах их автора, чем все научные труды покойного.

Одно из них, этих беззаветных, скромных и непритязательных лиричных строф покойного мне здесь невольно вспоминается.

Обращены они, эти стихи, не к человеку, но к.. четвероному любимцу и товарищу-помощнику **Бутурлина** в его охотничьих скитаниях.

Я не знаю, есть ли вообще в литературе строки, так же чутко принимающие к психике животного, как эти, писанные не рукой ученого-зоолога, но сердцем тонко чувствующего человека.

Помнится, как прочитав их, я сказал себе: Да, человек, нашедший у себя столько тепла и чувства для четвероногой бессловесной твари, этот человек найдет путь правды и в общении с людьми.

И вспомнил я один конфликт покойного, его бывшее длительное разногласие с крупнейшим орнитологом бывшей России, в свое время разделявшее наших зоологов на два враждебных лагеря: сторонников **Бутурлина** и его видного идейного противника.

Этот конфликт тянулся годы и полемика по поводу его велась порою не без страстности, но неизменно с той корректностью, которая была присуща всем печатным выступлениям покойного.

Конец этому спору положили ...царские чиновники.

Узнав о состоявшемся по произволу министерства удалении из Университета своего идейного противника, и возмущенный полицейским произволом, **Бутурлин** одним из первых отозвался на него и первым вызвался на примирение с бывшим противником в идейном споре.

Это человеческое отношение к безвестному и бессловесному животному и это рыцарское отношение к человеку, своему идейному противнику невольно у меня сливаются в едином гармоничном облике покойного.

Перефразируя известнейшее изречение, порываешься сказать: «Ученым можешь Ты не быть, но Человеком быть обязан!»

Этому императиву нравственной оценки и морального признания духовный облик жизни и призвания Сергея Александровича не противоречил: Да, ушел из жизни выдающийся ученый, вместе с ним покинул нас большой, глубокий, вдумчивый, душевный, чуткий человек.

И нам, оставшийся его соратникам, друзьям и почитателям, имевшим счастье знать его, нам в нашей благодарной памяти о нем останется самое ценное и дорогое, что возможно высказать при расставании с дорогим умершим, это убеждение, это признание, что за большим ученым и общественным работником в лице Сергея Александровича **Бутурлина** стоял, порою укрываясь, человек большой души, большого сердца

Речь перед открытым гробом Михаила Александровича Мензбира

От **Дарвиновского Музея** его первому идейному вдохновителю — последнее Прости!

С этого горестного места, в этот скорбный час, мы слышали о **Мензбире**-ученом, **Мензбире**-учителе, о **Мензбире**, как о культурном деятеле уникального масштаба.

Но да будет мне дозволено сказать несколько слов о **Мензбире**, как о художнике...

Он был художник в чутком и проникновенном понимании Природы, целиком определившей все его призвание и две любимые его науки:

О многоголосых, красочных и оперенных странниках, этих, по выражению Дарвина, быть может, самых эстетических живых существ, и

О былых минувших обликах нашей Земли, этой быть может, самой поэтичной из наук во всем Естествознании.

Он был художник слова с кафедры и на страницах книги, мастер стиля, давший замечательные образцы художественной речи.

Он был мастер и художник в построении научного анализа и синтеза, научной мысли, неизменно и предельно ясной, четкой и всегда ответственной и самобытной.

Наконец, он был художником в самом ответственном и трудном деле, в построении своей могучей индивидуальности, всецело отданной призванию и служению обществу.

И столь же многогранно было и влияние всех этих свойств покойного на нас, учеников его.

Знаком Природы, он любовно-радостно выискивал созвучные ему влечения к Природе в молодых сердцах, приковывая их к себе, к своей науке.

Мастер слова, он поддерживал в нас энтузиазм и учил нас жизненно-эмоционально подходить к науке, а не только познавательню..

Художник мысли, он давал нам школу в области научного исследования...

Наконец, борец за индивидуальность человека и ученого, он нам показывал, как можно сочетать широкое служение обществу с глубокой самобытностью мыслителя и человека.

В этой самобытности, в этой большой и ярко одаренной индивидуальности, таилась глазная разгадка беспримерного влияния покойного на окружающих.

Словами **Гете** и покойный мог бы про себя сказать: «Да, высший дар детей Земли в их индивидуальности!» добавим: безраздельно отданной служению Обществу.

Что в том, что эта самобытность, эта властность сильной волевой натуры, сталкиваясь иногда с другою волей, приводила к временному диссонансу, охлаждению, разрыву.. Проходило время и ушедшие с борьбой обычно снова возвращались к Мензбиру, влекомые духовной силой этой уникальной личности. Снова и снова обращались они к старому учителю, умевшему всегда быть верным самому себе: и в апогее своих сил и славы, и при вынужденном оставлении родного Университета, и в сознании близкого ухода своего из жизни, жизни, так богато одаренной им и так мучительно не отдававшей его смерти.

Пусть же в этот скорбный час проникновенно-благодарно прозвучит мое последнее «Прости!» перед открытым гробом моего учителя, так бесконечно много давшего когда то мне и, косвенно и прямо, **Дарвиновскому Музею**...

Незабвенный, дорогой учитель мой, прими последний и согретый искренней сыновней ласкою привет от старого ученика, порой, быть может, самого строптивого, и все же самого, быть может, благодарного и верного ученика!

Да воплотится мой прощальный, горестный привет в слова забытого философа-поэта:

«Мир же Вам с любовью, старческие Тени!»

Памяти профессора Григория Александровича Кожевникова

Старому Учителю от старого ученика.

Долгие тридцать с лишним лет, — тридцать четыре года — связывали жизнь и призвание Григория Александровича с самыми давними его учениками, лицами моего возраста.

Как памятен он нам «на рубеже столетий»: молодым приват-доцентом в старом здании Музея, так давно несуществующим...

Но и тогда, и позже, в настоящем новом здании Музея, в роли устроителя его, профессором, и еще позже в положении Советского ученого, *два* свойства, *две* черты определяли весь духовный склад Григория Александровича: простота общения с людьми и замечательная живость, бодрость в жизни и работе.

Из бесчисленных тому примеров вспоминаются невольно два.

Совсем недавно, в этом самом зале и на этом самом месте, состоялся вечер, посвященный полувековой почти научной деятельности Григория Александровича. И все мы помним, как тепло и задушевно провели мы этот вечер, и как искренно звучали бесконечные приветствия и пожелания юбиляру. Помнится, как в моем скромном обращении-привете я попутно указал, что «разногласия, имевшие когда то место между мной и им, не помешали все же установке дружеских взаимных отношений...»

Но как характерен, и как симптоматичен был ответ Григория Александровича, возразившего, что «недо-разумения на то и существуют, что разленившись, еще более сближать людей».

Эти короткие и кроткие слова с особой живостью звучат сейчас во мне...

А вот другая реплика, не менее характерная для покойного.

Пятнадцать лет тому назад. Первые месяцы Советской власти. Заседание Совета Общества Акклиматизации. Решается судьба Московского Зоологического Сада. Общая позиция более старых членов Общества определенно выжидательно-настороженное.

Но выжидать пассивно хода нарастающих событий — ни в малейшей степени не отвечало убеждениям и характеру Григория Александровича. Помнится, как на сомнения одного из членов Общества в закономерности какого то распоряжения, относившегося к Саду четко и решительно последовала отповедь **Кожевникова**: «Но ведь Революция имеет и свои права!». Сказал он и на долгие пятнадцать лет отдал себя, свои познания и силы на служение трех различных Наркоматов.

Можно с полной уверенностью утверждать, что вряд ли было хоть одно значительное совещание по вопросам, связанным со специальностью Григория Александровича, в котором он не принял самогорячего и близкого участия.

Не все, конечно, начинания и люди стоили последнего. Но ни ошибки в единичных людях, или начинаниях, ни тяжесть личных испытаний не смогли ослабить ни отзывчивости к людям, ни энергии в работе.

И ничто, казалось не смогло понизить тонуса и темпа этой юношески бодрой жизни.

Знаменательно, что по рассказам близких, незадолго до своей кончины, заронив вопрос о том, какую смертью суждено ему уйти из жизни сам Григорий Александрович заметил, что возможность долгой инвалидности страшила бы его всего сильнее, более всего.

Смерть пожалела старого ученого и нестареющего энтузиаста, быстро и, по-видимому, безболезненно превратив жизнь, словно собирающуюся вечно жить и отрицающую небытие.

И нам, оставшимся и, в частности, седеющим ученикам Григория Александровича, остается только унести с собою светлый, цельный облик нашего учителя, умевшего так бодро жить, так горячо работать и так просто, так легко, так искренно прощать !.

Памяти Николая Дмитриевича Бартрама. Основателя и директора Государственного Музея Игрушки

18.-VII.-1931.

Прошло менее года, как московские музейные работники простились навсегда с талантливым, энтузиастичным основателем **Центрального Музея Нароковедения**, Борисом Матвеевичем **Соколовым**.

Протекло менее года и опять, и столь же неожиданно-безвременная смерть!

Ушел из жизни основатель самого своеобразного и самобытного Музея, уникального без всякого сравнения..

Осиротел **Музей Игрушки**, скристаллизовавший на себе все творческие силы, все познания, весь опыт и всю жертвенную волю Николая Дмитриевича **Бартрама**.

Преждевременно ушел из жизни самобытный, прирожденный музеолог, тонкий и проникновеннейший знаток своего дела, пионер, новатор в самом подлинном, буквальном смысле слова, беззаветно преданный своему делу.

Для всех нас мысль о Николае Дмитриевиче не отделялась от его Музея. Жизнь обоих была связана глубоко, неразрывно...

Я не знаю, приходилось ли покойному быть вынужденным заполнять анкету, обошедшую недавно нас, музейцев, с предложением «закрепить себя до окончания пятилетки» ...Если да, то с каким грустным и недоуменным чувством выполнял, я думаю, покойный эту столь излишнюю для него формальность! Закреплять чернилами и на бумаге спаянное кровью сердца, долгой жертвенною жизнью!

Вспоминаются невольно первые тяжелые, катастрофические годы после Революции: Мерзлая, снегом занесенная, голодная, тифозная Москва. Огромнейшее большинство музеев свернуто, на положении «анабиоза». Но не то «Музей Игрушки», именно в ту пору развернувший самую живую, интенсивную работу...

И позднее, в пору вынужденной «инволюции» Музея, сердце основателя его, как трепетно, настороженно оно билось в ожидании возврата к обновленной, творческой работе!

Это сердце ныне замерло навеки, и осиротел Музей.

Пройдут года и его стены вновь услышат радостные восклицания детей, но им не озариться столь же радостной улыбкой основателя Музея. Эти тысячи предметов, долгие десятилетия, с такой любовью, с таким знанием сносившиеся в его стены, уж не останутся на себе любовных взоров Николая Дмитриевича, этих его темных, пронизательных и бесконечно добрых глаз..

Пройдут года. Найдутся, надо думать, в будущем достойные преемники, способные достроить здание, заложенное, возведенное любовью, знанием и кровью сердца Николая Дмитриевича..

И все же в этот скорбный час мучительно вставь вопрос: найдутся ли и те энтузиастично, жертвенно горящие сердца, без каковых ничто самые пышные хоромы, самые упитанные сметы, самые насыщенные штаты, самые детальные программы, самые возвышенные лозунги?

Найдутся ли? Если — да, тогда и лишь тогда мы в праве будем утверждать, что не напрасно, что не зря боролось и болело это чуткое, больное и большое сердце, столь безвременно сгоревшее на своем посту!

Речь перед открытым гробом профессора Бориса Матвеевича Соколова

I.VIII.30

Воину — Ученому, безвременно отозванному с поля битвы, от товарища по оружию — последнее Прощание!

«Великий труд требует великой награды. Лучшая награда — признание общественной полезности затраченного труда ..»

Эти простые и правдивые слова, записанные рукой провинциального учителя в музейной Книге посетителей, с тяжелым чувством вспомнил я вчера при вести о Твоей кончине.

Какова **Твоя** награда, каково **Твое** призвание, — об этом здесь не время и не место говорить. Об этом пусть поведуют другие, ближе знавшие Тебя и Твой подвижнический труд.

И пусть поведуют они другим, грядущим поколениям, как в нашу героическую пору создавались уникальнейшие учреждения, как создавались они кровью сердца одиноких энтузиастов и.. как разбивались, как раскалывались эти сердца!

Не как ученый и музейец, не как основатель **Дарвиновского Музея**, в жизни и судьбе которого так много сходного с Твоим духовным детищем, не как музейный деятель я выступаю здесь.. Влезут и побуждают меня к этому другие, более интимные мотивы.

Так совсем недавно, лишь четыре месяца тому назад, сам окруженный сонмами забот и увидав меня в таком же окружении, Ты первый поспешил пожать мне руку с выражением участия...

И там же, в том же «совещании», уже больной, как горячо Ты ратовал за оказание материальной помощи, поддержки одному сотруднику и в интересах больше моего, чем Твоего Музея!

И вот то рукопожатие и тот призыв, они сроднили нас и привели меня к этому гробу, и шепнули мне слова горячего и задушевного прощания с Тобой, как Человеком...

Дорогой Борис Матвеевич! При всем различии в наших годах и круга собственно научных интересов, при всей редкости случайных наших встреч, — одно роднило нас с Тобой всегда и неизменно: общность нашего духовного оружия, того оружия, которым Ты владел так совершенно и настойчиво, оружия, которому ничто — и происки врагов, и малодушие друзей, оружия, что привело Тебя к созданию прекрасного Музея, и что привело Тебя безвременно к ..этому гробу! Оружия, имя которому: **энтузиазм!**

И, как энтузиасту, смертью закрепившему свою любовь к науке и призванию, низко кланяюсь Тебе, даю последнее лобзание..

Памяти Николая Васильевича Попова

Редает старый, кадровый, заслуженный состав работников, «старая Гвардия» Пушно-Мехового Холодильника...

Ушел из жизни замечательный знаток своего дела, горячо, душевно ему преданный...

Ушел из жизни подлинный Советский труженик, чуткий товарищ, обязательный и подлинно культурный человек: не стало нашего любимого и дорогого Николая Васильевича **Попова**.

Как совсем недавно он нам памятен склоненным над своей работой: сортировкой самого ответственного меха, нашего единственного в мире *Соболя*.

Любовным, острым взглядом прикинул к каждой шкурке, мягко и любовно проводя по ней рукой профессионала, сортируя по сортам и свойствам, Николай Васильевич уверенно царил в своем прекрасном соболином царстве, этом подлинном чудесном «мягком золоте».

И словно отравивши на себе эту культурность, мягкость меха, поражали мягкость и культурность самого работника.

Страдая сильной пониженностью слуха, Николай Васильевич мог более других всецело уходить в свою работу.

Сколько раз, бывало, обходя его товарищей, соседей-сортировщиков, и громко с ними поздоровавшись, невольно медлишь, подходя к товарищу **Попову**: Как то совестно бывало отрывать его внезапно от работы и боишься испугать его, стоящего спиной и углубленного в нее. Слегка касаешься его плеча. Немедленно он обернется к Вам, откинет неизменные свои очки и озарит Вас своей доброй и приветливой улыбкой. Как сейчас я вижу его столь здоровое по виду, полное, румяное лицо, полные губы, ясные глаза, эту его приветливую, почти детскую улыбку...

Эта мягкость, эта подлинная, настоящая культурность Николая Васильевича в его внешнем облике и обращении, его манере говорить, были исконным его свойством.. Это был один из тех людей, в близи которых, от одной улыбки их невольно становилось на душе спокойнее, светлее!

Знаменательна сама кончина Николая Васильевича.

Придя в урочный час на службу, он, не поднимаясь, как обычно на 9-ый свой этаж, в свой цех, на свое место за столом с пушниной для ее разборки, неожиданно присел в прихожей на диванчике и жизнь покинула внезапно старого Советского работника.

Как будто с тем, чтобы не омрачать своей кончиной светлой залы, места долголетней и самоотверженной своей работы, но как желая все же завершить ее в стенах родного учреждения, Николай Васильевич словно хотел заверить, что последний его шаг, последний вздох его неотделимы от тех стен, которым он так преданно служил в течение десятков лет.

Мир праху скромного Советского работника, умевшего вносить в свой многолетний труд большого мастера и знатока-профессионала подлинную настоящую культуру чуткого товарища и человека.

Прощай, наш дорогой, любимый Николай Васильевич!

Профессор А.Ф. Котс

Директор Гос. Дарвиновского Музея, культ-Шифа над Пушно-Мех. Холодильником.

Памяти Михаила Алексеевича Сироткина

Последний долг мы собрались отдать скромному труженику и большому мастеру, чуткому, умному, простому, обаятельному человеку.

Скромный в своей жизненной профессии фотографа, Михаил Алексеевич лишь силой своего ума, настойчивости, дарования сумел добиться ранга подлинного виртуоза своего искусства, подлинного мастера в работе с фотокамерой и «темной комнатой», поставленных на службу массовой культуре и науке.

Можно с полной уверенностью утверждать, что среди множества своих собратьев по оружию, столичных мастеров-фотографов-профессионалов и любителей, покойный занимал вполне определенное и вряд ли кем-нибудь оспариваемое место: в такой мере мастерство Михаила Алексеевича носило свой особый, яркий, самобытный отпечаток.

Не совсем обычной и во всяком случае не часто наблюдаемой являлась всего прежде специальность и ближайшее призвание покойного: фотографирование живых объектов, наблюдаемых в движении, будь то мчащегося рыска на гипподроме, или мимолетная улыбка на лице ребенка...

Здесь, в этой стремительной фиксации и уловлении фотокамерой мельчайших, мимолетнейших движений или выражения души, покойный был один из первых и непревзойденных мастеров, создавшим тысячи шедевров своего искусства.

Стоит лишь напомнить сотни снимков, сделанных им применительно к исследовательским работам **Дарвиновского Музея**: изданные в форме Атласа монументальной монографии эти работы, выполненные М.А., нашли восторженную оценку и признание и навсегда останутся достойным памятником его редкого искусства.

И, как всякое искусство, сочеталось оно с редким трудолюбием.

Долгие двадцать лет работал М.А. для **Дарвиновского Музея** и за все это двадцатилетие я не припомню случая, чтобы сеансы с фотокамерой **Сироткина** оказывались неудачными: настолько метко и без промаха умел он оперировать над самыми неблагоприятными и трудными сюжетами.

Миниатюрный, стройный, быстрый, ловкий, он при помощи своей миниатюрной камеры проделывал буквально чудеса, не меньшие, чем те, которые он выполнял в своей Лаборатории при обработке безнадежных свиду негативов, получаемых со стороны.

В чем же причина этой замечательной успешности фоторабот покойного и где разгадка, ключ его неподражаемого мастерства?

В том, что формально будучи профессионалом в своем деле, он в действительности был его «любителем», вносящим в свое дело в каждый снимок на одно только движение «затвора» фотокамеры, но и движение сердца, любящего, ищущего глаза.

Так, по крайней мере, относился он ко всякой поручаемой ему работы, выходящей за пределы механической лишь копировки, и, конечно, в этом смысле скромное по виду оперирование с фотокамерой в руках **Сироткина** являлось подлинным искусством, ибо творчески им отраженным, творчески им пережитым.

Но отсюда же и дорогая «плата» этого искусства: плата преждевременно сгоревшим сердцем, ибо только лично испытавшие нервящий стиль работы по фотографированию живых животных, может оценить всю утомительность ее практического выполнения.

В подлинном, буквальном смысле слова можно утверждать, что закрепляя в несравненных своих снимках красоту движения живых существ, **Сироткин** с каждым снимком отнимал движения и собственного сердца, собственного нерва, преждевременно сгоревших.

И, однако, как ни ценны были эти дарования покойного, как замечательного знатока и энтузиаста своего искусства, — оба эти свойства оттенялись третьим, еще более значительным и редким, качествами человека.

И лишь в свете этих персональных свойств М.А. безвременный уход его из жизни кажется особенно тяжелым и никем незаменимым.

Двадцать долгих лет мне приходилось пользоваться замечательным искусством, мастерством **Сироткина**, долгие двадцать лет в условиях, не слишком благодарных для достойной, полноценной, действенной оплаты неоплатного его труда.

А между тем, за это долгое двадцатилетие я не припомню случая, чтобы когда либо в моих служебных, деловых сношениях с **Сироткиным** возник хотя бы лишь намек или оттенок недоразумения: настолько чуждо, непривычно было для покойного подобие коммерческого, меркантильного подхода и расчета.

Сколько раз, бывало, после окончания фотосеанса сунешь в качестве «аванса» пару «сотен» в счет оплаты, и всегда один и тот же робкий и конфузливый ответ: «Совсем не обязательно!» и это в пору несомненной заинтересованности в заработке..

Сколько раз, бывало, предлагаешь Михаилу Алексеевичу взять с собой «казенных» химикалий, специально приобретенных Музеем для фотографических работ, и неизменно та же реплика: «Поберегите у себя! Вещь редкая, позднее пригодится, а сейчас я обойдусь и со своими материалами!» И это — при громадной дефицитности последних и возможности их выгодного сбыта...

Да, то был редкий труженник-бессребренник, умевший забывать себя и изживавшийся в своей работе, не считаясь ни со временем, ни с силами, ни с материальными оплатами.

Долгие двадцать лет работал я с покойным и не помню случая, чтобы М.А. манкировал сеанс, однажды им обещанный: всегда и с неизменной точностью к назначенному времени являлся он со своей маленькой «заркалкой» или «лейкой» и неисчерпаемым запасом пленок и пластинок.

Юношески молодым и бодрым появился он впервые в **Дарвиновском Музее** двадцать лет тому назад и столь же юношески бодрым — вопреки начавшимся сединам, лишь едва оправившись от тяжелой операции вернулся он в Музей минувшим летом...

Эту бодрость и неутомимость он умел передавать всем окружающим, захватывая, заражая их своей энергией.

Как радостно и как легко было работать и общаться вообще с **Сироткиным**, не только как с большим, уверенным в себе, в своем искусстве мастером, но как с приветливым, открытым, чутким, умным, тонко чувствующим человеком, человеком прирожденной внутренней большой культуры.

Характерная подробность! Каждый раз, снимая группу экскурсантов **Дарвиновского Музея**, или тех или иных его сотрудников за их работой, препараторов, или художников, **Сироткин** каждый раз по окончании выдержки и замыкании затвора камеры обычно говорил снимавшимся: «Кончилось Ваше мучение!»

Как это было показательно! Этой своей шутливой деликатной репликой М.А. словно старался скрасить непривычное для некоторых снимавшихся позирование перед аппаратом, словно извинялся за доставленный им мимолетный пустяковый труд...

О своем собственном труде, о своих подлинных мучениях, связанных с тяжелым и хроническим заболеванием покойный никогда и ничего не говорил.

Да, он умел работать и ..молчать.

Последняя работа, выполненная **Сироткиным** для **Дарвиновского Музея** прошлым летом, вскоре после выписки его из Клиники, после тяжелой операции, касалась сотен фото, закреплявших полувековую деятельность Музея и предназначавшихся для представления в высшие органы Советского Правительства в связи с проектом о постройке собственного здания и полного развертывания его экспонатуры.

Наш Музей дождется своих стен, достойных уникальности его идейного и вещного, фактического содержания, как учреждения общеевропейского масштаба.

Не дождался их один из самых преданных его сотрудников.

Но, как во всяком творческом большом культурном деле, смертью крупного идейного работника не прекращается его культурное служение, так и с кончиной дорогого нашего **Сироткина** на прекратится, не порвется его связь с нашим музеем, с нашим коллективом.

Пусть навеки мы прощаемся сегодня с внешним милый, дорогим нам обликом Михаила Алексеевича, но смерть не в силах приостановить грядущего воздействия его прижизненной работы на культуру нашей страны, поскольку каждый фотоснимок, вышедший из рук М.А. — невыразимо яркий дружеский призыв к признанию **Дарвиновского Музея**, популяризации его работы, привлечения к Музею взоров мировых ученых и внимания нашей общественности и Правительства.

И если, — как мы глубоко уверены — Музей наш в скорой времени дождется своих новых стен и развернет свои полвека собиравшиеся ценности, то в достижениях этих не последняя заслуга выпадет на долю давнего и преданного друга **Дарвиновского Музея**, скромного искусного и бескорыстного работника родной культуры, **Михаила Алексеевича Сироткина**.

Покойся, спи же с миром, наш любимый, долг свой выполнивший до конца!

10 Марта. 1946 г.

В.А.

В наши дни, когда любой из нас, готовясь к ночи и ко сну, не знает — где, когда и как ему дано будет проснуться, — даже в наши дни, овеянные смертью, — неожиданный уход из жизни В.А. может навести на знаменательные размышления.

Исполнив долг перед готовившейся к смерти матери, **дочь** неожиданно и для себя, и для других, последовала за ней.

И вот два гроба, две кончины, два почти одновременных ухода жизней, столь неодинаковых по силам и таившимся возможностям.

Одна — потухшая как лампа, как лампада, медленно погасшая за долгим, длительным горением — неожиданно, внезапно и безжалостно задута так бурно, пламенно горевшая и

Другая — бесконечно много обещавшая и своим близким и служению Обществу на иные умственной и нравственной культуры.

Облику покойной, как общественной работницы, как деятеля просвещения, да будет мне позволено здесь посвятить немногие слова.

Конечно, жизнь каждого лица, любого человека, независимо от его роли и значения в семье и обществе, является в известной степени — незаменимой, именно поскольку каждый человек является неповторимой индивидуальностью.

Но только в отношении общественных работников достаточного ранга принято открыто говорить об их «незаменимости».

Известно также, что всепобеждающее время слишком часто выправляет человеческие завышения оценок, и казавшиеся столь незаменимыми при жизни люди слишком скоро легко находят заместителей а вместе с ними — горькое забвение.

Но почему по отношению к В.А. это ненадежное понятие «**незаменимости**» звучит особенно правдиво, искренно и справедливо?

Потому что с В.А. ушел из жизни деятель, работник умственной и нравственной культуры, редкого морального диапазона, педагог не по профессии, но по **призванию**.

В чем же особенность работы и служения этих «избранников» на ниве умственной культуры? — этих педагогов «Божьей милостью»?

Эту особенность мы видим в том, что убеждении истинного педагога — самое служение его является для самого него источником великой радости, неиссякающего счастья.

Именно так, под знаком **радости**, воспринимала В.А. свою работу в классе, Аудитории. Музейном Зале.

Каждое произносившееся ею слово говорилось с радостью, каждый урок, каждая лекция или экскурсия являлись для нее на положении Праздника.

«Какое счастье!» — так восторженно и убежденно говорила мне покойная за пару дней до неожиданной своей кончины... «Что за счастье и какая радость при сознании возможности делиться своим знанием, давать его другим, общаться с аудиторией! Какая радость от самого факта передачи знания другим, кому оно полезно и необходимо!»

И едва ли нужно говорить, что эта радость, эта праздничность общения со слушателями, чувствовалась аудиторией и порождала ту отзывчивость и ту созвучность восприятия, тот исключительный успех, которым пользовалась В.А. как лектор, педагог, руководитель группами в Музее.

Да, согретое горением сердца слово находил себе путь в сердца, а не одни только умы людей.

Об этом нам свидетельствуют сотни отзывов, восторженных признаний и высказываний слушателей, яркие слова горячей благодарности, переполняющие Книгу Отзывов нашего **Дарв. Музея**.

Еще больше больше говорит об этом чуткое, любовное к ней отношение слушателей, понимавших, как глубоко-нераздельны были в В.А. ее таланты педагога-лектора и человеческие, личные ее достоинства — ее горячее влечение к людям, теплое, сердечное к ним отношение.

Как виртуоз, как мастер своего призвания В.А. не знала усталости, не знала утомления в своей работе: Сотни, тысячи экскурсий по Музею за десятки лет — и неизменно **тот** же энтузиазм, **тот** же пафос, **то** же пламенное и неугасимое горение.

В самом буквальном, подлинном, реальном смысле можно было применить к покойной слово «**Просвещенец**», как идейный факел, светоч, несший знания, горевший счастьем передачи знания другим, несения его в народ, в людские массы.

Но — Увы! — чем ярче пламя — тем быстрее, тем стремительнее он сгорает..

Слишком ярком пламенем горело рвение В.А. в ее страсти насаждения знания, и слишком скоро, преждевременно она сгорела...

Пройдут года. Наш **Дарвиновский Музей** дождется своих стен, раскроит их для тысяч и миллионов посетителей. Найдутся для обслуживания их и новые «экскурсоводы-лекторы» но В.А. уже **не** будет с нами.

Никогда уже больше не услышим мы ее горячего и убедительного слова, так насквозь проникнутого изумительным умением влагать в каждое слово всю свою любовь к науке, всю свою любовь, свое влечение к людям и к служению им.

Пройдут года.. ее бывшие слушательницы Курсов **Медсестер** рассеются по необъятной нашей Родине, исполнив свой ответственный и благодарный долг перед страной в это тяжелое и героическое время — время испытания воли, преданности делу каждого из нас.

И так хотелось бы, чтобы мы, временно объединенные у этой преждевременной могилы, расходясь при расставании с нею, унесли с собой не только светлые воспоминания о дорогой покойной, но и некий жизненный завет, **идейное** наследие от светлой жизни и идейного служения культуре нашей Родины.

Да будет мне позволено заветом этим заключить мои слова над этой дорогой могилкой.

Сколько раз, за время нашей общей просветительной работы в Дарвинском Музее — Перед нами, в частности и перед В.А. естественно неумолимо ставился вопрос: Насколько содержание наших лекций отвечает увлекательной и убежденной форме их подачи? И не слишком ли мы упрощаем содержание наук.

На вопросы эти я ответить мог только словами двух великих гуманистов. По убеждению **Грановских**:

«**Люди несут ответственность только за чистоту намерения и усердие выполнения, а не за далекие последствия совершенного ими Труда**»

Эта же мысль еще проще высказана **Чеховым**: «**Дела определяются их целями: то дело называется великим, которого велика цель**».

И в этом смысле я позволю себе облечь завет покойной в нижеследующие слова и обратиться к Вам всего прежде к молодым друзьям покойной — слушательницам **Курсов Медсестер**. К Вам обращаю я мои последние слова:

Что именно Вы будете давать Вашим больным в Вашем служении в качестве **сестер** Больниц и Госпиталей — Что Вы будете конкретно предлагать Вашим больным — это во многом не от Вас будет зависеть, но от состояния Науки, от ресурсов материальных и людских, которые на деле могут быть несовершенными, как все людское. Повторяю — за саму науку Вы не будете нести ответственность.

Но **как** Вы будете нести Ваше служение, **как** Вы будете нести общение с больными, **как** Вы будете к ним относиться — это целиком будет зависеть лишь от Вас и только и единственно от Вас.

Внесите же в это общение с людьми и с Вашими больными, ту сердечность, теплоту, ту **человечность**, ту любовь, симпатию, которыми так исключительно богато было сердце В.А., так преждевременно сгоревшее.

Исполните этот простой завет во имя, в память нашей дорогой покойной В.А. и это будет лучшим и неувядаемым венком над преждевременной ее могилой лучшей Вашей благодарностью за то, что она сделала для Вас — бывших ее последней предзакатной, заключительной любовью.

Моей давней, верной ученице, верной преданной сотруднице нашего **Дарвиновского Музея** — от лица его осиротевших сослуживцев и друзей — последнее и благодарное **Прости**.

Памяти Агафьи Матвеевны Великановой

15 Января 1952 г.

Наступило то, что так давно — увы! — мы ожидали.

Хороним мы нашу **Агашу**, навсегда прощаемся мы с ней.

Долгие **тридцать** лет служила она нам, нашей семье, нашему дому, а не только нашему **Музею**.

Познакомился я с ней в глухом Поволжье, летом 1914 года, проживая около Симбирска, у родных.

И была она тогда в расцвете сил, но и тогда уже всегда серьезной, замкнутой, порою хмурой, словно жизнь ее обидела и обошла ее чем то большим и важным.

Переехала она в Москву в трудную пору послевоенной разрухи поступивши к нам домашней работницей, с тем, чтобы несколько позднее стать технической сотрудницей нашего **Дарвиновского Музея**.

Привезла она с собой в Москву уже знакомые нам ранее черты и свойства: трудолюбие, усердие и добро-совестность, но и не только это: привезла она с собой старинные волжские напевы, «Песни Волги» и Москва услышала и оценила эти ее песни.

Поступив в когда знаменитый хор, руководимый **Пятницким**, Агаша в продолжении ряда лет успешно выступала и в «**Колонном Зале**» и в **Кремле**, не только в хоровых но и самостоятельных, отдельных номерах.

Эти былые выступления **Агаши** в хоре Пятницкого были несомненно лучшими годами ее жизни. Помнится, как после окончания работ в Музее, вечером, в нарядном сарафане, в ярких лентах, собираясь на концерт, или по возвращении с него, **Агаша**, возбужденная успехом, временно утрачивала свой обычный хмурый вид и словно молодела, становилась разговорчивой, почти веселой.

К сожалению, эта служба в хоре скоро прекратилась. Потому ли что все больше стали учащаться выезды его далеко от Москвы, или другим причинам, но **Агаше** предложили сделать выбор между **хором** и **Музеем**.

Не легко ей было сделать выбор. И не без борьбы, с тяжелым сердцем бросила она свой сарафан и песни, чтобы посвятить себя всецело нам, нашей семье и нашему Музею.

И быть может самым основным, решающим при этом выборе была привязанность ее к нашему сыну, **Рудику**, которого **Агаша** помогала вынуждать, деля труды с Надеждой Николаевной и Филиппом Евтеевичем.

На сынишку нашего, нашего мальчика, **Агаша** и перенесла свою привязанность, свою любовь и сохранила ее до последнего дыхания.

И все же вынужденный разрыв с любимым делом не прошел бесследно. Именно со времени ухода с хора, столько лет вносившего в ее однообразную и трудовую жизнь столько ярких красочных переживаний, — стала появляться у **Агаши** та болезнь и та страсть, которые стубили столько лиц, куда более сильных, или обеспеченных.

И с каждым годом эта страсть, эта болезнь все росла и как ребенок малый тщетно думала бороться с ней **Агаша**.

Еще раз судьба словно намеренно оберегла ее от преждевременного ухода, когда замечательным искусством доктора Ек. Пав. **Калмыковой** удалось спасти **Агашу** от ужаснейшей болезни — рака.. Но последствия другой ее болезни — страсти были менее предотвратимы.

И конец стал неизбежен.

И, прощаясь навсегда с нашей **Агашей**, хочется сказать:

Бессмертная душа людская несравненно выше, чище, просветленнее, чем ее временные оболочки, их земные одеяния.

Этой душе покойной хочется сказать: **Спасибо** за тридцатилетнюю самоотверженную службу, примерную, если бы не тяжелая Твоя болезнь, сведшая Тебя безвременно в могилу!

Прости, прощай навеки наша безответная и дорогая!

Памяти Петра Васильевича Лютенкова

В небывало героич. пору отмечаем мы эту единственную в своем роде смерть.

В дни когда на необъятном протяжении от Н7 и до Д. верные сыны и дочери России кровью закрепляют привязанность великой Родине под гул орудий, здесь в Москве в тип музейских стен траг. прервалась жизнь скромного ученого и педагога.

И однако, почему же эта смерть воспринимается как то особенно мучительно и скорбно.

Почему эту трагическую смерть не в силах заглушить ни жертвы ни победные салюты?

Потому что умер беспримерный энтузиаст дела, умер жертвой своего же энтузиазма.

Потому что умер человек, горевший своим делом и сгоревший на посту, сожженный на своей идейной «вахте».

Потому что умер подлинный горячий друг советской молодежи и погиб в заботе о ее культурном росте, с думами о ней, забыв ради нее себя.

Именно так смотрел на свою роль и на свое призвание тот, с которым мы прощаемся сегодня.

Человек, энтузиаст, преданный своей работе он не только выполнял ее: он изживался в ней, поскольку труд и жизнь такого человека равнозначны и любимый труд является мерилем радости и счастья.

Это умение вживаться радостно в свой труд приходится тем более ценить, что самое призвание покойного не слишком благодарно для научной массовой наглядной популяризации.

Известно, как старанием еще не мал. числа бездарных педагогов бесконечно много сделано чтобы внушить т. и с .при одном лишь слове Ф.

Это — не Ботаника, встреч. аром. И многообразие прич. форм и красок всякого непрошенного.

И не история, влекущая героикой народов и от лиц, в своих в образ понятных и ребенку.

Это — не литература, не поэзия, чарующая миром гармон. образов или созвучий.

Уходя корнями в мир незримых и неосознаемых движений в этот мир физ. явлений — это царство цифр, царство формул и **нуждается в особенном подходе**, чтобы захватить внимание **массового** зрителя романтической поэзией этих поб. формул.

Этот дар «Романтика» науки и ее преподавания был в высочайшей степени присущ покойному.

Не даром так многообр. изощряла он в приемах методах аргументации, направлен к тому, чтобы зачаровать, заморозить любую аудиторию.

И подчиняясь воле экспериментатора играли, пели, рокотали аппараты и приборы и созвучно поясняющему слову лектора, мелькали вспыхивали, искры света попеременно с блестящими умами, умелой речью, меткими сравнениями, уместной шуткой.

Многократно приходилось мне присутствовать при опытах и демонстрациях покойного и каждый раз я изумлялся виртуозности, с которой подносились аудитории наглядно, ярко с подкупающей простотой сложнейшие явления новейшей физики в незримом мире электроники — этих скрытых властелинов видимого мира.

Словно некий **Маг** и **Чародей** умело властвовал покойный в своих залах над своей империей стали, меди и стекла, умело мастерски на ней играя, извлекая из нее чарующие, грандиозные симфонии побед технического гения.

И как в стар. сагах и легендах вызванные к жизни разрушительные силы обращались на лицо их вызвавшее из незримых недр, так и наш покойный пал жертвой сил, над выявленными кот. для шир. массового ст. лет трудился так восторженно и так самозабвенно.

Всем известны **обстоятельства** его трагичной гибели.

Готовясь к предстоящим демонстрациям от покойного накануне дня показа проверял свою аппаратуру.

Можно было быть уверенным, что и без такой проверки все приборы действовали бы безотказно, но привыкший к идеальной слаженности демонстраций и замысливший новые варианты опытов? не поступился и на этот раз затратами труда и времени.

И проверяя проводы с высоким напряжением и помогая еще лучшим, еще более эффективным, красочным показов. мысленно превосходя тот восторг, которые доставят его опыты учащимся он приослабил должное внимание к себе: **В заботе об обслуживании молодежи, занятый лишь мыслями о ней, он позабыл себя, забыл об окружающих его грозных силах.**

Этот грозный мир незримых сил природы, словно лишь подстерегал малейшую оплошность в оперировании с ним.

И этот промах был допущен.

Опытный, предельно искушенный мастер совершил его и с тем жестоким равнодушием, с которым мертвая природа наказует одинаково незнание и недосмотры — эта «**Равнодушная природа**» смертью покарала своего горячего истолкователя и друга.

Знам., скорбная кончина, если мы припомним как настойчиво, подчеркивал покойный материальность, вещность всех физических явлений, не взирая на незримую подлинность процессов протекающих за гранью видимого мира.

И затих Музей. Умолк романтик самой прозаической науки — мира формулы и цифры. Замерло, остановилось, призастигло в своем рокоте, своих движениях и вспышках царство электронов, так умело, так изящно, так художественно просто выявлявшееся им при жизни...

Будем думать, что зажженные его талантом и горячей преданностью молодежи и науке, станут у штурвалов грозных аппаратов новые, достойные их управители.

Но не легка будет позиция и велика будет ответственность этих товарищей, имеющих сменить покойного, его талант и знания и преданность науке, нашей молодежи, заменить горение умом и сердцем, сжегшее покойного...

Так пусть же образ этого талантл. педагога подлинного друга нашей молодежи, сохранится в памяти ее, как вдохновляющий пример служения родной культуре и родн. стране.

А нам, оставш. работникам на скромной сцене, а на деле величав. ниве умственно — или что то же нравственной культуры, остается ближе и тесней сомкнуть свои ряды — ряды стареющих хранителей — адептов нестарящихся научных истин, старых пионеров нового и молодого знания, приходящего на смену.

И заканчивая свою речь, я позволю себе заключить его созвучно нашей героической эпохе — словом бодрости и упования.

Прощаясь с дорогим нам прахом скромного героя тыла и товарища по мирному оружию, мне хочется ему — проникновенно искренно и душевно:

— «Мы скорбим о роковой оплошности и о самозабвении, вырвавших тебе оружие из рук, но самое твое оружие, твою чудесную науку, твой чудесный пафос, героичное самозабвение во имя знания, его несения широким массам в жадные, пытливые умы и чуткие сердца нашей чудесной молодежи, этот твой неиссякаемый горячий энтузиазм, твою пламенную веру в науку, в наши силы и неиссякающую молодость научного искания, в нашу вечно-молодую Родину — мы унесем с собою завещаем ее нашей смене, как и память о тебе!»